СОФІЯ ЗАЙЦЕВА

ДѢТСКИМИ ГЛАЗАМИ НА МІР

ШАНХАЙ — 1947

СОФІЯ ЗАЙЦЕВА

Дѣтскими глазами на міръ.

Повѣсть из жизни Петербургской дѣвочки.

Шанхай.
1947 г.

Настоящая книга вышла первым изданіем в Харбинѣ в 1937 году. В виду исчерпанія книги, автором были сдѣланы редакціонныя поправки для возможнаго новаго изданія. С этими поправками она переиздается нынѣ посмертным изданіем: смерть похитила автора 11/24 августа 1945 года в Пекинѣ.

Книга «Дѣтскими глазами на мір» названа была автором «повѣстью из жизни Петербургской дѣвочки». Отрочество и юность этой дѣвочки составили предмет другой повѣсти, вышедшей в Харбинѣ в 1941 г. под названіем «У порога в мір». Третья повѣсть, изображающая «Путь чрез мір» той же дѣвочки, увидѣла свѣт в Шанхаѣ в 1946 году, уже послѣ кончины автора.

Всѣ три повѣсти имѣют каждая вполнѣ самостоятельное значеніе, но в цѣлом составляют трилогію, объединенную не только тождеством лица, ведущаго повѣствованіе, но и опредѣленной духовной заряженностью. Представленіе о ней, примѣнительно к настоящей книгѣ, могут дать слѣдующія слова, сказанныя о ней автором в предисловіи ко второй книгѣ:

«В 1937 году вышла в Харбинѣ моя книга «Дѣтскими глазами на мір» — повѣсть из жизни петербургской дѣвочки. Изданіе это цѣликом разошлось на Западѣ и на Дальнем Востокѣ.

«Была ли написана моя повѣсть только для дѣтей? Нѣт. И читатели и критика отмѣчали, что — несмотря на простую и легкую для чтенія форму письма, доступную и дѣтям, несмотря на описаніе совсѣм незамысловатых событій из дѣтской жизни, дѣтскими же глазами увидѣнных и воспринятых — она,

по своей лирически-благодарной в отношеніи к прошлому настроенности, особенно доходчива до сердца взрослых.

«Тѣ, кто ждали в первой книгѣ занимательных разсказов о развлеченіях и проказах дѣтства, должны были оставить ее с нѣкоторым недоумѣніем—вѣроятно, такіе читатели были. Другіе же с первых страниц поняли, что здѣсь рѣчь шла не о «фактах», а о безхитростном воспріятіи міра широко раскрытыми дѣтскими глазами и о поэтически-настороженном прислушиваніи к нему...»

Хочется вѣрить, что Господь поможет в ближайшем будущем перепечатать и вторую книгу; тогда вся трилогія будет доступна читателю.

I

У НАС НА КИРОЧНОЙ.

— Вы в какой булочной булки покупаете?

— У Кривоносова, на Пантелеймоновской.

— У вас господа хорошіе?

— Ничего, хорошіе. Только Петя злой. Онъ щиплется и ногами по полу бьет.

Тут Тамарка по-бабьему поправляет платок и с серьезным видом подбирает маленькія губки. Потом она наклоняется ко мнѣ и шепчет:

— Ну, а теперь ты меня как будто спрашиваешь — кто такой Петя?

Я молчу.

— Ну, спрашивай же.

Я спрашиваю:

— А кто Петя?

— Это сын у моих господ.

— А сколько у вас камнат?

— У нас столовая, потом кухня, потом спальная, потом еще двѣ, нѣт не двѣ, а еще... цѣлых пять комнат... Потом дѣтская.

— Ой, как много! А какого онѣ цвѣта?

— Голубыя. Нѣт, только нѣсколько голубых, а потом все розовыя.

— Значит, вы богатые?

— Да, мы очень богатые, — твердо говорит прислуга, уже не отличая себя от господ.

— А что вы ѣдите?

— Каждый день мороженое, потом шоколад и еще саговый пуддинг. У нас ничего другого даже не готовят.

— Ну, а теперь как будто ты меня спрашиваешь, — не выдерживаю я великолѣпія Тамаркиных разсказов.

Но Тамарка уже не хочет остановиться.

— У Пети пятьдесять шелковых рубашечек с поясками, и шапочки со страусовыми перьями, и локоны...

Я отмахиваюсь от нея руками, кричу, что теперь моя очередь говорить. Не помогает.

— У Петички лошадка совсѣм настоящая, живая, и стоит она всегда у него в дѣтской.

Я сбрасываю с себя одѣяло, в которое была укутана с головой, зажимаю уши и кричу:

— А у меня есть большущее корыто, больше, чѣм у Насти, и я цѣлый день сама стираю и пою вот так — «шумѣл, горѣл пожар Московскій»...

Я вижу вблизи разсерженное лицо Тамарки и, несмотря на заткнутыя пальцами уши, слышу:

— А у меня мама цѣлый день в декольтэ

ходит с перламутровой обшивкой! Вот!

— Чья мама? Вѣдь мы прислуги, у господ служим...

Тамарка вдруг замолкает.

Я, обрадовавшись, стараюсь прокричать как можно скорѣе:

— А я не пью рыбьяго жира, никогда не говорю по нѣмецки, ѣм с папой острыя закуски, никогда не ложусь спать и потом, потом...

Тамарка плачет.

— Was ist los?*

Фрелейн Альтмюль (а по нашему, дѣтскому, Неша) неслышно выплывает в дверях, подходит к кроватям и оправляет сбившіяся одѣяла.

Мы с Тамаркой утыкаемся в подушки,

— Неша, пить, — бурчит Тамарка.

Фрелейн идетъ за водой в столовую. Мы, как по командѣ, подымаем головы.

— Это из за тебя! Визжишь на весь дом.

Тамарка опять роняет голову в подушку.

— Ты сама первая визжишь,— присаживаясь на кровати, оправдываюсь я, но вдруг слышу в столовой шаги и до самаго подбородка ухожу под одѣяло.

Неша подходит к Тамаркѣ, дает ей выпить нѣсколько глотков и ставит стакан с водой на комод.

---

* Что случилось?

— Спи, спи, мой котенок! — шепчет она мнѣ, выходит на цыпочках из дѣтской и притворяет за собой дверь.

Я смотрю на маленькій ночник на комодѣ с голубым колпачком и со свѣтлым полукруглым пятном от него по орѣховому гладкому дереву, и мнѣ кажется, что крохотный кораблик с голубымъ фонарем плывет ко мнѣ из темноты по зеркальному озеру. И уже совсѣмъ волшебным кажется рядом с ним граненый стакан с водой с цѣлым пожаромъ искр и звѣзд на самом днѣ.

— Тамарка, ты спишь?

— Сплю, а что?

— На что твой стакан похож, посмотри!

Тамарка отвѣчает не сразу:

— У нашего Weihnachtsmann'а* такая борода была — бѣлая, со звѣздочками.

— Или, как, будто, ледяная гора, а под ней костры, — прибавляю я, засыпая.

---

* Дѣдушки - Мороза.

II
В ТАВРИЧЕСКОМ САДУ

— Дѣвочка, а дѣвочка, хотите с нами поѣздом с горки кататься?

Это спрашивают меня. Я молча отбѣгаю к скамейкѣ, гдѣ сидит моя Неша, и, на всякiй случай, утыкаюсь ей в плечо лицом.

Нехорошо быть такой дикаркой — уговаривает меня Неша, — отвѣчай же ей. Конечно, хочет. А как вас зовут, милая?

Бѣлокурая дѣвочка в голубой шубкѣ подбирает с дорожки мою лопатку и подходит к нам.

— Оля Бейнрот.

— Ах, какая она чудная, красивая, как принцесса, — думаю я.

У Оли Бейнрот есть своя Неша, только гораздо хуже моей: у фрелейн Johanna большое сине-красное пятно во всю щеку, и на нее смотрѣть чуть-чуть страшно, хотя и интересно. Я уже хочу потихоньку спросить Нешу:

«Откуда такое пятно?», но Неша смотрит на меня строгими глазами... Я наклоняю голову, поскорѣе подворачиваю одну ногу (когда чего-нибудь стыдишься — никогда не выходит хорошій реверанс!) и протягиваю Олечкѣ руку в однопалой варежкѣ.

Мы зовем Тамарку и идем набирать еще дѣтей для поѣзда. Оля хочет выбирать дѣтей «по своему». Она старше и храбрѣе нас, и мы стараемся ей не мѣшать.

— Теперь нас довольно, — вдруг рѣшает она. Мы связываем всѣ санки в поѣзд и бѣжим к горкѣ.

Первыя санки Олины: синія, плюшевыя с роскошной бахромой до самых полозьев. За ними мои — красненькія, с высоким сидѣньицем позади.

Я люблю возить в них моего замученнаго заботами и играми, зацѣлованнаго Мишку. За прошлую зиму он совсѣм потерял свою золотистую мягкую шерстку! И ухо само оторвалось! Сшили мы с Нешей ему красный кафтан с позументами: прикрыли Мишкину плѣшивую спинку, а ухо — уж Бог с ним! — так и оставили ему одно - единственное.

И сейчас, сидит Мишка в моих санках в красном кафтанѣ, а я бѣгу рядом и придерживаю его на крутых поворотах.

*

Сторож в Таврическом саду колдун — это я давно знала! Только он добрый колдун.

Стоит он на самой вершинѣ горки. Полыхает на солнцѣ его рыжая борода, а под ней горит у него слѣва на груди его колдуново солнце с какими то знаками и отмѣтинками.

Мы бѣжим в гору.

— Тише, тише подымайтесь! — кричат нам снизу.

Но мы видим, как колдун на горѣ бросает вниз по прозрачному зеленоватому водопаду одну диковинную рыбу за другой. Через секунду рыбы доплывают до нас и оказываются веселыми мальчуганами, распластавшимися на деревянных санях. Мальчуганы хохочут, кричат и вдруг исчезают за высокими сугробами снѣга.

Мы спѣшим, спотыкаемся о сугробы, падаем. Холодный воздух обжигает горло, глаза болят от бѣлизны снѣга.

Мы на горкѣ.

Колдун отогнал назойливых мальчишек, выправил наш поѣзд и пустил вниз...

Острый вѣтер ударил в лицо. Я впилась руками в желѣзный ободок моего сидѣньица, вытянула ноги.

Впереди, подо мною, мелькает голубая шубка: вот высунулись из-под нея тонкія ножки в бѣлых гамашах, вздрогнули по лягушачьи, часто-часто забили по льду—значит, мы докатились до «волны» на самой серединѣ горки.

Санки вдруг с силой толкает в сторону, подбрасывает вверх, а с ними вмѣстѣ подбрасывает в груди мое сердце... Я закрываю глаза, откидываю голову назад, пока мои санки и сердце не падаютъ вмѣстѣ в какую то пропасть...

Сцѣпились и залязгали позади меня полозья чьих то санок, взвизгнули дѣти.

Но дальше дорога уже не опасна: голубая шубка — наш вожатый — опять прячетъ под себя тонкія ножки и откидывается назад. Внизу поворот, но голубая шубка не хочет направить по нему наш поѣзд, и мы стрѣлой летим на рыхлую снѣговую стѣну... Весь поѣзд опрокидывается. Барахтаемся, хохочем. Кто то капризно хнычет и вытряхивает из рукавов, из под воротника большіе комья снѣга.

— Это я нарочно не повернула, — хвастается Оля. — Так интереснѣе.

И мы опять бѣжим на гору, но уже в разбродку, разгоряченныя, веселыя, и волочим санки за собой.

Темнѣет. Пора идти домой. Оля, Тамарка и другія дѣвочки стараются выклянчить у старших еще полчасика на катанье. Но уже уходит в свою будку рыжебородый колдун: сейчас ударит в колокол, и всѣ заспѣшат к воротам.

И мнѣ чуть-чуть жалко разставаться с горкой, хотя я знаю про себя, что вот теперь то и наступит самое чудесное! Зажгут на улицах

фонари. Я буду тихо идти рядом с Нешей и смотрѣть на огромную снѣжную сѣтку, которая вдруг спустится с неба. Мнѣ всегда кажется, что она не двигается, но растут по краям тротуаров голубые сугробы, и все глубже увязают в снѣгу мои ноги в высоких теплых галошках...

Холодно! Тамарка приплясывает на ходу, волоча за собой санки. Я прячу руки в кругленькую заячью муфту, подвѣшенную у меня на шнуркѣ и прижимаю к груди захолодѣвшаго Мишку. Вот прокатили мимо нас нарядныя сани, а в них старуха и пес с огромной слюнявой мордой. Везут старуху вороныя лошадки. Пар стоит над их головами, а из под копыт разлетается бѣлыми искрами снѣг. Сани скользят без шума, только у лошадок внутри что то похлюпывает... Я долго гляжу им вслѣд...

* * *

На Воскресенской мы заходим в магазин, гдѣ всегда уютно, тепло и интересно для нас с Тамаркой. Тут и пахнет совсѣм по особенному: керосиновыми лампами, новым коленкором. И еще чѣм то жареным тянет из дверей комнаты в глубинѣ магазина.

Продавец здѣсь тоже совсѣм особенный: старенькій, говорит всегда шопотом и быстро моргает узенькими глазками. На шеѣ у него пестрый шарф, а на ногах валенки. Мы знаем про

него, что он очень любит чижей. Держит их у себя, кажется, цѣлую дюжину! Я ему всегда немного завидую, и мнѣ так хочется заглянуть в его коморку, гдѣ горит лампадка и хрипят старые стѣнные часы.

Очень люблю, когда Неша покупает у него ленточки или катушки цвѣтных ниток. Тогда я вскарабкиваюсь колѣнками на деревянный стул, заглядываю в разложенныя на прилавкѣ коробки и перечисляю Тамаркѣ по нѣмецки различные цвѣта.

Когда мы уходим, старичок кутается в шарф сторонится дверей и долго, суетливо нам кланяется.

III
ИГРЫ

Скоро мы начали играть в Олю Бейнрот, в Московскаго дѣдушку, котораго никогда еще не видѣли, в старшаго дворника Кузьму Михайловича, в бѣдных студентов — папиных учеников и любимцев, с которыми он цѣлыми вечерами работает у себя в кабинетѣ.

Но интереснѣе всего было играть в сироток Птичкиных, потому что взрослые не знали, кто онѣ такія и откуда мы их взяли!

А мы их по секрету от всѣх придумали ночью и потом цѣлые дни говорили друг с другом, как Фрося и Дашенька. И никто этого не знал!

Отец у нас городовой, мать умерла от чахотки очень давно, и жили мы съ отцом и мачехой — гадалкой.

Гадалка нас ненавидит и очень бьет. Папа думает, что мы злыя, потому что гадалка на нас «ябедничает». Ѣсть нам дают только черный

хлѣб с солью, а на ночь запирают в подвал. Сестрицу Дашеньку мачеха в мороз посылает на Охту за керосином, а Настина сестра, как увидит ее на Охтѣ, — зовет к себѣ и поит на кухнѣ кофеемъ с халвой и баранками. Дашенька прячет ѣду под передник и приносит мнѣ — Фросѣ. Ночью, в подвалѣ, мы ѣдим потихоньку сладости и жалуемся на гадалку.

Вот и сейчас все у нас с Тамаркой приготовлено для подвала: моя плетеная садовая мебель опрокинута на пол, мыльницу и кольца от штор Тамарка прячет под фартучком.

Я лежу на полу и охаю:

— Ох, ох, какая я голодная... Опять злая гадалка ѣла курицу и пила лимонад, а мнѣ не дала даже кусочка хлѣба.

— Не плачь, маленькая сестрица. Сегодня Настина сестра на Охтѣ была в шелковом красном платьѣ и пила кофе с халвой и баранками. Она мнѣ дала и халвы и баранок для тебя.

Дашенька вынимает из-под фартука свои сокровища.

— А у нея гости были?

— Да, очень много. И старшій дворник в очках был. Всѣ плакали и жалѣли меня. Хотя тебя тоже жалѣли.

— А что они говорили?

— Они говорили; бѣдныя сиротки Птичкины, скоро вы умрете, и Бог вас тогда возьмет на небо.

Мнѣ что-то щекочет горло и глаза, а сестрица Дашенька продолжает говорить со вздохом:

— Я ужасно теперь плачу. Мы остались совсѣм сиротками, потому что вчера умер наш папа городовой... Давай, поѣдем теперь в деревню к бабушкѣ и дѣдушкѣ, а то злая мачеха сживет нас со свѣта.

Мы быстро вскакиваем, подымаем диванчик, придвигаем его краем к окну, против него ставим два креслица и усаживаемся.

Вдруг Тамарка встает с диванчика, крадется к своей постели, осторожно стаскивает подушку и на цыпочках (чтобы не разстроить игры!) возвращается на свое мѣсто.

Я вижу что она начинает раскачивать на руках и прижимать к груди подушку.

— Это ребенок у... вас? — неожиданно для самой себя спрашиваю я.

— Да. Это — Гришенька.

— А чей же он сын?

— Мой.

— А куда мы, значит, ѣдем?

— К папѣ и мамѣ городового.

Вот с Тамаркой всегда так! Возьмет и начнет вдруг совсѣм новую игру, а я за ней не поспѣваю. Очень мнѣ обидно. Я выхожу из «купэ» и говорю ей, чуть не плача:

— Ну и играй одна. И я одна буду.

Сначала я прыгаю на одной ногѣ по паркет-

ным квадратикам и пою, чтобы не смотрѣть на Тамарку и показать ей, что мнѣ и безъ нея весело. Потом бѣгу к комоду, достаю голубую ленту и вплетаю ее в косичку; вынимаю из корзиночки на Нешином столикѣ бархатные цвѣты, дѣлаю глубокій книксен и иду вглубь комнаты. Тамарка мнѣ больше не нужна...

— Оля Бейнрот одна идет на Васильевскій остров поздравлять с днем ангела свою Grossmutter!! *

* бабушка.

IV
НАШИ СЕКРЕТЫ.

Наступили совсѣм особенные дни.

Тамарку и меня выкупали раньше положеннаго дня. Потом старшія сестры, мама, Неша — всѣ выкупались в один день и стали наливать воду «на запас» в ванну, в кувшины, в тазы и кастрюли. Настя все время бѣгала за покупками, как перед праздниками. Сестры не пошли в гимназію...

И нас с Тамаринькой перестали водить в Таврическій сад: послѣ завтрака мы играли во дворѣ Спасской церкви. Обѣдали без папы, а вечерами Тамаринька читала мнѣ вслух нѣмецкія сказки, или же мы сидѣли впотьмах, обнявшись, на моем плетеном диванчикѣ и играли «в секреты».

Секретов теперь было очень, очень много...

— Знаешь, Шишилка, — говорила Тамарка, — теперь все будет по особенному, потому что вездѣ... «риволюція». Я сама слышала...

От этого непонятнаго слова мнѣ становится в потемках немного страшно. Я стараюсь смотрѣть только прямо перед собой в дверную щель, в которую виден свѣт из столовой.

В столовой шелестит скатерть, позвякивают о блюдца ложечки. Потом слышны тяжелые, быстрые шаги Насти, которая несет по корридору самовар.

Тамара вскакивает с диванчика.

— Угадай, какія сегодня булочки к чаю?

— Не знаю, — тихо отвѣчаю я и прислушиваюсь к знакомому покашливанію и к скрипу половиц в кабинетѣ.

— Ну, а все-таки угадай!

В столовой раздаются тихіе шаги; зашуршала газета...

— Папа пришел, говорю я.

Я вижу в щель, как он садится у края стола. Настя ставит перед ним обѣденный прибор.

Папа сидит, опустив голову, и постукивает ножом по хрустальной подставкѣ.

Мнѣ почему-то дѣлается ужасно его жалко.

— Знаешь, Тамаринька, когда папа будет старенькій — я будут его через улицу за руку водить...

— Я тоже, — говорит Тамарка, — и ситный буду ему в мелочной покупать.

— А что же дѣтей не видно? — слышим мы

вдруг голос из столовой. — Эй, княжна, иди сюда, иди скорѣй, топ-топ ножками...

— Иду, — кричу я. Обгоняю Тамарку и с разбѣга вскакиваю папѣ на колѣни.

V

БОЛѢЗНЬ

Как уютно бывало лежать больной в постелькѣ! Непріятно только, когда Неша или мама рѣшат, что нужно меня уложить и примутся за приготовленія. Я сижу на стулѣ у печки и стучу зубами от холода, который забрался мнѣ под ложечку и оттуда разливается по всему тѣлу. Оставшись в пикейном лифчикѣ и штанишках, я начинаю зѣвать, отряхиваться и дрожать еще больше, а когда и рубашонка взлетает над моей головой вмѣстѣ с косичкой и бантом — я жалобно хнычу и впиваюсь руками в стул. На меня одѣвают чистую, согрѣтую у печки ночную рабашку и относят в кровать.

Мнѣ еще очень холодно, хотя я лежу, укутанная до подбородка в пуховое одѣяльце и упираюсь пятками в горячія бутылки.

Неша аккуратно складывает на стулѣ мое бѣлье и чулки, уносит в шкаф мое платье и сапожки.

Закрываю глаза: в головѣ начинает стучать какой то молоточек; я больше не дрожу и не зѣваю... Какая то теплая волна подкатывает к горлу...

— Неша!

Мы с Мишей обнимаемся и вмѣстѣ падаем в темную, теплую рѣку, по которой прыгают красные огоньки.

А вот и карлики! Всегда тѣ же самые, маленькіе, смѣшливые. Подбѣгут друг к другу, схватят что-то, потом разбѣгутся в разныя стороны и растянут передо мной длинную дрожащую струну.

Мнѣ щекотно от нея в груди и в головѣ, но я боюсь пошевелиться. А струна все тянется и вдруг, как лопнет! Карлики упадут на пол и хохочут, хохочут...

И я смѣюсь и радуюсь, потому что струны больше нѣт, и карлики сейчас исчезнут: один — юркнет под комод, а другой — выпрыгнет в закрытую форточку и бѣлым комочком упадет за окном.

Я вскакиваю на кровати и стараюсь пошире раскрыть тяжелыя вѣки. В комнатѣ почти темно, хотя шторы на окнах еще не спущены, и я вижу, как мелкій снѣг крутится и пляшет вслѣд улетѣвшему карлику. В глубинѣ комнаты вижу в темнотѣ маленькій чудесный городок с сине-пепельными холмиками и огненным дворцом. Вот задрожала одна его стѣна, покач

нулась и разсыпалась грудой искр и красных угольков. Над нею змѣйкой пробѣжало пламя и сѣрый дымок. Красноватыя пятна упали на мѣдную доску на полу и проскользнули до самаго комода, гдѣ спрятался один из карликов...

— Неша, — кричу я, — Неша, пусть они больше не приходят, эти карлики!!

Тамаркину кроватку унесли в спальню. Мы спим ночью вдвоем с Нешей. То есть сплю я, а когда просыпаюсь от каких то капелек, которыя стекают по моему лицу к ушам — вижу склонившуюся надо мной Нешу, слышу запах уксуса и чувствую что то холодное и мокрое у себя на лбу.

Ночью вспоминаю, что когда зажгли ночник и опрыскали комнату сосновой водичкой,— приходил папа и поил меня из блюдечка вкусным малиновым чаем. Чай я весь выпила, но еще что то другое пить не захотѣла, плакала, и папа ушел от меня разстроенный. Я знаю, что «другое» пить все равно придется утром, а то не позовут завтра доктора Соколова, и я всю жизнь останусь лежать в постели, без игрушек, без Тамарки и без сладкаго.

*

— Кашку, кисельку, молочка, — говорит доктор и послѣ каждаго слова ударяет себя красной, широкой ладонью по колѣну. Лицо у

него тоже красное, глаза зеленые, вылупленные, но ничего нѣт красивѣе его мундира и костяной палочки, на которую он опирается. Говорит он громко, почти кричит и никогда не стоит спокойно на мѣстѣ, а все пританцовывает, как на морозѣ.

— Лежи, курица, смирно. Ѣсть не проси и побольше спи. Навѣрно, опять своих карликов видишь?

Я боязливо киваю головой.

— Сама виновата, Не хнычь от компрессов, и пей касторку, когда дают. Поняла?

— Поняла, — тихо говорю я, отворачиваюсь от доктора и ковыряю пальцем прошивку на уголкѣ подушки.

—...Armes Kind* — не выдерживает Неша.

* * *

Доктор давно ушел, а я все еще лежу с натянутым на лицо одѣялом и не то, что плачу, а так, посапываю носом за каждой скатившейся слезинкой. Да и плакать то нечего!

Весело потрескивает печка, слетѣлись на окошко, воркуют, оглядываются на форточку мои синенькiе гульки, голубки. Из гостиной глухо доносятся гаммы... Неша достает с полки книжку и садится возлѣ меня читать вслух.

---

* Бѣдное дитя!

Я в двадцатый раз слушаю «Maerchen und Erzaehlungen»* и знаю, что когда Неша дойдет до того мѣста, гдѣ отецъ с сыномъ прiѣзжают на базар — ея пальцы не смогут перелистнуть сразу эту страничку. Неша покажет мнѣ ея стертый замусоленный уголок и покачает головой в мою сторону...

Я вдруг не досчитываюсь одного знакомаго голубка за окном.

— Неша, а гдѣ же самый синенькiй?

— Еще прилетит, подожди!

«Халат, халат» — булькает во дворѣ, Здѣсь, в моей чистенькой дѣтской, в моей теплой постелькѣ — я не боюсь его. Но на улицѣ, во дворѣ, даже когда иду за руку с Нешей — я не могу спокойно смотрѣть на его черное каменное лицо, на полосатый страшный мѣшок за плечами, в который он, конечно, прячет вмѣстѣ со старыми муфтами, шубами. юбками—маленьких непослушных дѣтей...

Как то раз во дворѣ «халат» повернул ко мнѣ свою бритую голову в плоской черной шапочкѣ, оскалил зубы и пристально посмотрѣл на меня. Я страшно закричала, обхватила обѣими руками Нешины колѣни и уткнулась ей в шубу лицом ...

И вот сейчас я лежу в постелькѣ и думаю под Нешино чтенiе: что на свѣтѣ страшнѣе — «риволюцiя» или «халаты»?

* Сказки и разсказы.

VI
ФРЕЛЕЙН НАША

Неша в домѣ самая маленькая по росту, не считая Тамарки и меня.

На ночь она мочит волосы холодным чаем, заплетает в мелкія косички, закалывает их шпилькой на затылкѣ и прячет под кружевной чепчик, который сама себѣ связала.

Утром, во фланелевой нижней юбкѣ и ночной кофточкѣ, она расплетает и расчесывает свои золотистыя, жиденькія косички. Потом взбивает их гребенкой кверку и закручивает «нѣмецкую кукульку», как мы с Тамаркой называем ея прическу.

Бѣлье и платье у Неши никогда не пачкается, не мнется, и даже ботинки не снашиваются.

Нешѣ уже 25 лѣт, но она никогда не сидит со взрослыми и больше всего любит разговаривать с Тамаркой и со мною. Она нам разсказала про свою жизнь, и мы с тѣх пор играем в семью Альтмюль. Тогда Тамарка бывает боль-

нымъ горбуномъ Артуромъ, который не может сам ходить, а я — Нешиной мамой, фрау Альтмюль, которая вяжет чулки и грѣлки на чайники. Живем мы в Ревелѣ, у нас есть свой огородик, сад и маленькій дом. Иногда я веду Артура под руку в гости к почтальону, и он дает нам немного денег от Неши из Петербурга. Тогда мы всю игру говорим только по - нѣмецки, и Неша бывает довольна

Сама Неша говорит по-русски только когда очень разсердится. Раз она взяла Тамарку за ухо, привела в угол и сказала:

— Рибенку долсно послушать отец и мамѣ.

Тамарка расхохоталась и долго потом кривлялась, приплясывала в своем углу, и повторяла эти слова. А Неша сидѣла у стола с красным лицом и полными слез глазами, обиженная, вздыхала и вязала.

Мнѣ было очень жалко ее, хотя я тоже хохотала вмѣстѣ с Тамаркой.

Но сердилась Неша рѣдко. Особенно на меня. Вообще у нас в дѣтской было давно рѣшено, что Неша и папа больше любят меня, а мама— Тамарку.

VII
ОБИДА

Когда мнѣ исполнилось шесть лѣт, пріѣхала с Кавказа кузина Итка, которая была на цѣлый год младше меня. Она стала жить со своей мамой в большой нарядной гостиницѣ, гдѣ то на Невском.

Нас с Тамаркой часто водили к ней, и мы на цыпочках проходили по широкой лѣстницѣ с огромными зеркалами на площадках, В комнатах, неизвѣстно откуда, были слышны тихіе звонки, пахло сигарами; духами и еще чѣм-то вродѣ мяты.

Играть с Иткой мы не любили. Она никак не могла понять «игру в какіе нибудь разсказы» Все садилась в кресло с куклой и кормила ее кусочками яблока, намоченными в водѣ, или таскала ее за руку по комнатѣ гулять.

Из-за Итки случилась у нас в дѣтской первая бѣда: меня очень обидѣла Неша.

На комодѣ, рядом с ночничком, стояла ма-

ленькая, розовая свинющка. Когда Неша садилась шить, она снимала ее с комода. На ея бархатной спинкѣ вырастал тогда цѣлый букет из булавок с цвѣтными, яркими головками. Я из игрушек только и любила, что Мишу и эту Нешину розовую свинку.

Как-то раз Итка, уходя от нас домой, схватила с комода свинку и сказала, что унесет ее к себѣ на ночь. Неша засмѣялась и позволила Иткѣ оставить у себя свинку навсегда.. Итка завизжала от радости. Потом всѣ расцѣловали Итку, и Неша повезла ее домой, в гостиницу...

Мы с Тамаркой остались в дѣтской вдвоем.

Я подошла к комоду и стала смотрѣть на пустое мѣсто между ночничком и зеркалом.

— Тебѣ Нешину свинку жалко? — спросила Тамарка.

— Да.

— Почему же ты не ты отняла ее у Итки?

— Не знаю.

Я засопѣла носом...

— Не плачь, Шишилка. Пусть тебѣ папа купит другую — большую, красивую...

Я громко и безутѣшно заплакала.

— Пусть шелковую купит. Или розоваго зайца с корзинкой на спинѣ для всяких ниток, иголок, наперстка...

— Я хочу м о ю свинку.

—Ну, мы завтра поѣдем и отберем у Итки.

Тамарка сѣла на пол, посадила меня рядом

с собой и стала вытирать мнѣ передником слезы.

— А Итка глупая и подлиза. Мы с ней больше играть не будем, хочешь?

Я пожала плечами:

— Ну, не будем.

Тамарка не понимала, что случилось что-то ужасное, чего уже ничѣм нельзя было поправить.

Да я и сама не понимала хорошенько, почему мнѣ так тяжело. Если бы свинка стояла сейчас передо мной рядом с ночником, как прежде — я была бы так весела и счастлива. Но вернуть ее мнѣ уже больше не хотѣлось. Хотѣлось только, чтобы все в дѣтской было попрежнему, когда этого еще не случилось.

— Пусть у Итки теперь останется и свинка и Неша. Пусть, пусть...

И вдруг мнѣ стало так себя жалко, так чего то страшно... Кому же теперь разсказать обо всем? Старшіе будут утѣшать, как Тамарка, купят новую свинку, вернут, может быть, Нешину, старенькую, а я... все равно буду от чего то плакать!

— Я пойду к папѣ, — рѣшаю я вслух.

— К папѣ сегодня не пустят, нельзя, — шепчет Тамарка.

— А я все равно пойду к папѣ, — говорю я громко. Выхожу в темный коридор и крадусь к дверям, из под которых вижу слабый

зеленоватый свѣт.

В кабинетѣ на столѣ горит под зеленым абажуром лампа. От нея падает яркій, ровный круг свѣта на самую середину стола, но в комнатѣ почти темно, сильно накурено и жарко. Папа лежит на диванѣ, без пиджака, заложив руки за голову и похрапывает. Рядом, на стулѣ — сифон, чайный стакан и пустая желтая коробка от папирос, вся исковыренная спичками.

Я подхожу к папѣ, смотрю на его закрытые глаза, на неживой рот и вдруг пугаюсь его какого-то совсѣм чужого лица и сердитаго храпа.

Я взвизгиваю:

— Папа, проснись, вставай, папа...

Он перестает храпѣть, приподымает брови, но не открывает глаз и, кажется, во снѣ к чему то прислушивается.

Мнѣ дѣлается еще страшнѣе.

— Ой, не надо спать больше, я боюсь, папа!

Я прыгаю къ нему на тахту.

— Княжна, — тихо говорит папа и открывает глаза.

Я сажусь не него верхом и кладу обѣ ладони на его горячее, красное лицо.

— Папка. не спи больше, — хнычу я.

— Не буду, не буду. А тебя зачѣм ко мнѣ пустили?

— Никто не пускал — я сама пришла.

Папа опрокидывает меня на подушку, тя-

нется к сифону, прыскает в стакан пузырчатую воду и жадно пьет. Потом откашливается, опять тяжело падает на подушку и закрывает глаза.

— Ты больной?

— Нѣт, устал, и голова немного болит.

Я втягиваю носом воздух.

— У тебя пахнет вином. Ты уже обѣдал?

— Нѣт... Иди к себѣ, иди, моя дурочка.

— А ты выйдешь к обѣду?

— Выйду, выйду... Иди к себѣ. Я еще спать буду.

Господи! Вѣдь я шла к папѣ с таким горем, а ничего разсказать не могу! И как то даже лѣнь вспоминать, когда сидишь у папы в кабинетѣ, гдѣ все так интересно.

Сколько на столѣ листков со значками, с цифрами, с черточками и похожими на нѣмецкія буквами. Какой красивый бронзовый медвѣдь сидит на мраморной доскѣ для чернильницы! Лапы у него раздвинуты, и между ними просованы цвѣтные карандаши и ручки.

Сколько раскрытых, тяжелых книг, без картинок и разсказов, с одними цифрами... А на уголках, на полях разбросанных по столу газет, на старых папиросных коробкахъ, сколько папиных рисунков пером; какая-то чудесная звѣзда с ровненькими острыми уголками; красивая, пышная ромашка, а в серединкѣ у нея крошечный кружок и в нем ангельское лицо в

локонах; какое-то кресло со львиными мордами и лапами вмѣсто ножек; замок, расписная тарелка...

Я знаю, как папа это рисует!

Работает у стола над своими непонятными цыфрами и буквами; сидит и посвистывает, а рука сама ходит по краю газеты, и скоро весь он бывает засыпан аккуратненькими чистенькими рисунками.

Так папа и на роялѣ играет. Походит по темной гостинной, задумается, посвистит себѣ что-то под нос, потом подымет крышку рояля и без нот, без свѣта играет — то жалобное и тихое, то веселое и быстрое.

Мы иногда просим:

— Папа, это еще повтори.

А папа смѣется:

— Не умѣю повторять, не помню.

В кабинетѣ над тахтой висят большой кавказскій ковер, а на нем вышитый разноцвѣтными шелками портрет папиной мамы (моей любимой бабушки Дагестанской) и гитара. В углу, в простѣнкѣ между книжными шкапами — большая віолончель.

На гитарѣ папа тоже играет без нот, задумавшись и насвистывая, но для віолончели у него цѣлая полка нот и пюпитр с лампочкой.

Пока я разглядываю все в кабинетѣ, папа опять засыпает, и я начинаю привыкать к его «чужому» лицу и похрапыванью.

В передней слышен звонок. Я угадываю, что пришла Неша, и сразу вспоминаю свою обиду.

— Папа, слушай, не спи, — тереблю я и бужу его. — Не спи, я к тебѣ пришла, потому что меня Неша обидѣла.

Я волнуюсь и ерзаю по тахтѣ.

— Она нарочно отдала свою бархатную свинку с комода Иткѣ.

— А тебѣ жалко?

— Жалко! Я с ней играла, Неша знала, она нарочно отдала... Она меня, значит, не любит.

Папа подымает голову и пристально смотрит на меня. Глаза у него смѣются.

— Глупости! Из-за свинки так сердишься.

— Нѣт, пусть я лучше сама подарю... Мнѣ не жалко! Я лучше сама подарю и куклы и сервиз... Тамаркѣ. А Неша не смѣет мою любимую свинку...

— А вот это стыдно, — вдруг серьезно говорит папа и отворачивается от меня к стѣнкѣ.

Мы оба молчим... Я чувствую, что сейчас обидѣла папу, мнѣ стыдно, хотя и не понимаю, в чем я виновата, и не знаю, как теперь мнѣ быть.

— Нехорошо быть гордячкой, княжна. Сама свинку люблю, сама подарю! — тихо говорит папа.

Я так счастлива, что он заговорил со мной, что кладу ему голову на живот и плачу.

— Ты чей чижик?

— Папин.

— Чья плакса?

— Пап... — я останавливаюсь и хочу удержать слезы.

— Чей дурачок?

— Нѣт, нѣт, ничей, — со смѣхом кричу я и зажимаю папѣ рот обѣими руками.

— Дѣти, скорѣе руки мыть! Обѣд подают — слышно из корридора.

— Иди, иди, будет.

Я сползаю с тахты.

— Папка, я к тебѣ еще приду. Пусть ты как будто больной, а я какъ будто доктор Соколов. Хорошо?

VIII
ЦИРК ЧИНИЗЕЛЛИ

В одно воскресное утро я проснулась особенно счастливой.

— Тамарка уже не спала, сидѣла на кровати и расплетала свои тугія косички, накрученныя у самаго лба.

— Хорошо у тебя завились?

— Потом увидишь, когда расчешу, — отвѣтила Тамарка и соскочила с кровати.

Окна замерзли: между широкими рамами ничего не было видно, кромѣ комьев налипшаго снѣга, ледяных сосулек и желтоватаго морознаго дыма.

— Тамарка, а голубки не замерзнут?

— Нѣтъ, они, навѣрное, привыкли.

Рядом, в столовой, заливалась веселыми трелями Тамаркина канарейка. Дверь тихо скрипнула, пріоткрылась, и в корридорѣ показался сначала черный, мокрый нос, узенькая мохнатенькая мордочка и голова с большими

поникшими ушами: Кутяша только наполовину вошла в дѣтскую и очень серьезно на нас посмотрѣла, мигая глазами и постукивая по ту сторону дверей хвостом.

— Komm her!* — закричала я ей.

Кутяша с разбѣгу бросилась к моей кроваткѣ, но вскочить не посмѣла: положила переднія лапы на край одѣяла и заерзала, затанцовала передо мной, царапая коготками задних лапок по паркету.

— Тамарка, почему у Кутяши уши сами на лѣвую сторону выворачиваются?

— Это, когда она радуется! А ты ей их опять отверни.

Я отворачиваю.

— У нея пятки черненькія, комочками, — говорю я, зажав Кутяшину лапку в ладони.

— И когда она спит, от нея пахнет топлым кирпичиком и еще чѣм-то вкусным, — прибавляет Тамарка.

Неша зовет нас умываться. Снимает со стѣны голубую сѣточку с моей губкой и говорит, что не возьмет меня сегодня с собой в «Annen-Kirche»**. Я уже готова заплакать, как вдруг Тамарка подпрыгивает и кричит нараспѣв:

Нас сего-о-дня повез-у-ут в ци-рк!

Я ей не вѣрю.

---

* Поди сюда!

** Церковь св. Анны.

— Повезут, повезут, я еще вчера знала. Мама сказала. А тебѣ не позволили говорить, а то бы ты не спала всю ночь.

Тамарка брызжет водой, поет и смѣется, а я от радости не знаю, что мнѣ дѣлать. Прижимаю к Нешиному колѣну мокрую, разбухшую губку и пристаю к ней с вопросами:

— Какой это цирк? Такой, гдѣ лошади и львы? Большой? А мы с папой поѣдем? На извощикѣ, или Пирата запрягут?

Вода капает с губки на Нешины ноги в байковых ночных туфлях. Неша ласково меня отстраняет, уговаривает мыться и одѣваться без болтовни.

Ѣдем мы в цирк впятером: папа, Неша, Тамарка, я и старшая сестрица Лизанька. Нас с Тамаркой долго укутывают. Во дворѣ папа берет меня на руки, заворачивает в Нешину шаль, относит в сани и сажает к себѣ на колѣни.

— Восемьнадцать градусов, говорит он кучеру, укрывая нам ноги мѣховой полостью. — Ну, так в цирк Чинизелли, да?

Я просовываю нос в щель платка, трясу головой, чтобы высвободить наружу хоть пол лица, но вижу перед собой только сборки Васильевой шубы, перетянутыя красным кушаком, и густой пар над спиной Пирата.

* *

В циркѣ я сидѣла в ложѣ рядом с папой и обѣими руками крѣпко держала его за рукав.

Когда я подымала голову — мнѣ казалось, что опустили меня в глубокое волшебное море: лежу я комочком на его днѣ, а надо мной дрожат огни, и гдѣ-то высоко играют карлики-музыканты.

— Смотри вниз, сейчас звѣрей выпустят, — говорит мнѣ папа.

Но сначала выбѣжали какіе-то люди в пестрых балахонах, с круглыми, как у нас с Тамаркой, воротничками вокруг шеи. На головах у них были бѣлые колпаки, лица вымазаны мукой, у локтей болтались большія, плетеныя корзинки с ручками.

— Это такіе смѣшные повара?

— Нѣт, дѣтка, клоуны.

— А зачѣм у них корзинки и бѣлые колпаки?

Папа не успѣл отвѣтить, как они опрокинули корзинки, и оттуда выпали и разбѣжались во всѣ стороны маленькіе бѣленькіе кролики. Клоуны бросились их догонять; один поскользнулся и упал, высоко задрав ноги в дамских туфлях с помпонами. Тут всѣ клоуны захохотали, запищали, засвистѣли и начали драться: ударит один другого по щекѣ, звонко - звонко и так сильно, что тот упадет на пол и умрет!

Сначала мнѣ это показалось страшно, но всѣ кругом смѣялись, и я поняла, что это у них такая игра «по-нарочному».

Послѣдняго клоуна совсѣм некому было убить: он сам себя ударил по обѣим щекам и умер.

Пришли сторожа, клоунов подняли с ковра и унесли куда-то.

Потом вышел господин с тараканьими усами в высоких лаковых сапогах и в лаковом цилиндрѣ, ударил по песку длиннющим кнутом, что то крикнул, и... вороныя лошадки, стройныя, красивыя, какія-то праздничныя, с пучками цвѣтов и перьев на холках—выбѣжали к нему и окружили его.

Забил наверху барабан — лошадки всѣ разом встали на дыбы, зафыркали и тяжело попятились назад.

— Папа, Неша, какія онѣ умныя! Сколько их? Давай считать.

Но считать было поздно. Заиграли вальс, и лошадки закружились, перемѣшались в кругу. К концу вальса откуда-то выбѣжали веселые, смѣшные фоксики с голубыми бантами на ошейниках и с цилиндрами на головках, посаженными набок, на одно ухо. Они вскочили на лошадок, взяли в зубы поводья и объѣхали круг.

Имъ долго хлопали, еще долго гремѣл на-

верху барабан, и фоксики кланялись публикѣ, сидя на задних лапках — всѣ двѣнадцать в ряд!

Потом погасили свѣт, музыка и барабан утихли. Я подумала, что сейчас покажут что нибудь очень страшное, но когда свѣт снова зажгли, мы увидѣли внизу, на коврѣ, большую опрокинутую бочку. На ней сидѣл верхом худенькій клоун с плѣшивой головой, на которой только у самаго лба торчал клочок рыжих волос. Он держал на колѣнях раскрытую книгу, а рядом, положив переднія ноги на бочку, сидѣла огромная свинья в золотых очках.

Тамарка, я и всѣ кругом так начали хохотать, что не слышно было, о чем говорил свиньѣ пискливым, бабьим голосом рыженькій клоун. Но она нѣсколько раз отвѣтила ему: хрюкнула так громко, что у нея в носу что то захрустѣло! Тогда клоун полѣз в карман за платком и вытащил из широких, широких штанов цѣлую скатерть, снял со свиньи залотые очки, подышал на них с писком и вытер.

— Он хрюшку азбукѣ учит, понимаешь? — сказал папа.

Что еще я увидѣла в циркѣ в этот день?— Страшных львов с кудластыми головами.

На них я смотрѣла из под Тамаркинаго локтя, соскочив с кресла и прижавшись к папиной ногѣ.

Но когда под тихую музыку легкой рысью выбѣжал Томми — чудный бѣлый конек с шелковой гривкой и серебряным хвостом, когда на его спинѣ появилась фея — наша с Тамаркой любимая фея, о которой мы столько мечтали и шептались у голубого ночника, — маленькая, розовая, с вѣнком на кудрявой головкѣ, я сама испугалась своего счастья и не сразу смогла прошептать:

— Ой, Тамарка, посмотри, это — она. Ты узнала?

Вскочила папѣ на колѣни и, не спуская глаз с феи на бѣлом конькѣ, обхватила папину голову обѣими руками.

Когда мы возвращались домой, я, уставшая от чудес, заснула в санях.

IX

ВДВОЕМ НА МАМИНОМ СУНДУКѢ

Днем мечтать и секретничать удобнѣе всего было в передней, на сундукѣ.

Если раскрыть двери из столовой и корридора, то сундук окажется совсѣм спрятанным в углу между этими двумя дверьми. Покрыт он лишними коврами, и над ним повѣшены старыя шубы и мамина зеленая ротонда.

Сидим мы с Тамаркой на сундукѣ, слушаем, как в гостиной поют один за другим мамины ученики и «воображаем».

— Я, когда выросту, буду красивая, как царевна. Понимаешь?

— Да, — мечтательно отвѣчаю я.

— А ты будешь страшная уродина.

— Да!

— Потому что няня Наташа мнѣ всегда говорила: ничего, что Шишилка теперь хорошенькая, за то она уродой вырастет, а ты, Тамусенька, теперь так-себѣ, а зато, как выростешь,

красавицей - царевной будешь.

— А няня Наташа старенькая была?

— Ста-а-ренькая! Ей было... 100, нѣт 200 лѣт!!

— А она добрая была?

— Злю-ющая! Нѣт, хотя добрая!—сбивается на правду Тамарка. — Она пѣшком в Іерусалим ушла, а потом мамѣ желтенькіе камушки прислала, которые в стаканчикѣ лежат за иконой.

— А ты тоже туда пѣшком пойдешь?

— Нѣт, Шишилка, это далеко. Я лучше пѣть буду, как мама.

— Я тоже буду с тобой пѣть.

— Слушай, слушай, я эту пѣсню наизусть знаю: «лаша, кьо пьянга»,—подтягивает Тамарка ученицѣ в гостиной.

Скоро музыка умолкает. Слышно, как мама что-то говорит, слышен чей-то смѣх, шуршанье нот, шаги...

— Значит, до пятницы? До свиданья...

Дверь из гостиной открывается.

— Горло не простудите, холод какой,—говорит мама вслѣд и два раза звонит Настѣ.

Тамарка прикладывает палец к губам и дѣлает испуганное лицо. Я знаю, что это она «по-нарочному», но съеживаюсь в комочек и стараюсь не дышать.

Когда Настя, проводив учеников, гасит в передней свѣт,—мы выпрямляемся и вздыхаем.

— Мама уже прошла в спальню. Пойдем мы теперь пѣть с нотами, — шепчет Тамарка и сползает с сундука.

Я за ней.

Вот мы в гостиной, у большого зеркала, с нотами в руках.

— Горныя вершины, — запѣвает Тамарка, склонив голову на бок и далеко отставив перед собой ноты.

Я смотрю в зеркало на нас обѣих, и Тамарка мнѣ очень нравится. Она ровненькая, как дубинка, ножки у нея толстенькія. личико круглое, на тупом носикѣ очки, а на плечѣ двѣ пряменькія черныя косички, связанныя вмѣстѣ бантом.

— Ты на лошадку похожа, — говорю я.

— Ну, так садись, поѣдем.

Она вдруг опрокидывается руками на диван, выгибает спину, и я сажусь на нее верхом.

Лошадка, придерживая мои ноги, бѣжит в переднюю. Мимо маминой спальни надо проскочить незамѣтно, но у самых дверей в дѣтскую мы сталкиваемся в корридорѣ с мамой.

— Спусти ее сейчас же со спины. Она большая дѣвочка — почки тебѣ отобьет. И никогда с очками на носу не бѣгай.

Я слѣзаю, Тамарка снимает очки, кладет их в карман передничка, обиженно надувает губки, и мы, взявшись за руки, плетемся в дѣтскую.

— Нѣт, надѣнь опять очки, — говорю я. Я буду тебя азбукѣ учить.

— А бочку гдѣ возьмем? — сразу догадывается о новой игрѣ Тамарка.

X

В МОСКВУ

Тамарка заболѣла перед самым Рождеством.

В одно утро она проснулась с совсѣм желтым лицом и желтыми руками: ей не позволили встать с постели и послали за доктором Соколовым.

Мнѣ все это показалось таким необыкновенным и страшным: и то, что вмѣсто меня слегла толстенькая обжорка Тамарка, и что болѣет она какой-то странной болѣзнью, от которой позеленѣли бѣлки ея веселых глаз, — что я забилась в угол у комода и, разглядывая ее потихоньку всхлипывала.

Настя позвала меня гулять. Я замотала головой, еще глубже забилась в угол, а потом стала медленно раздѣваться.

— Настя, я лучше все равно уж буду с Тамаркой вмѣстѣ болѣть.

Но болѣть мнѣ не позволили. Сначала перенесли в мамину комнату мою кровать, и я нѣсколько ночей просыпалась у чужой стѣнки, потихоньку слѣзала с постели, шла босиком в столовую и там слушала под дверью, как посапывает и ворочается Тамарка.

А потом пришло от Московской бабушки письмо. Она просила привезти меня на всѣ праздники к ней, обѣщала веселую елку и подарок для Тамарки.

Мама, папа, Неша — всѣ обрадовались за меня бабушкиному приглашенію. Я молчала. И только послѣ того, как меня пустили к Тамаркѣ посекретничать — я тоже согласилась.

Мы вот так поговорили:

Знаешь, дѣдушка Московскій косоглазый, богатый, и он — великан.

А он позовет на елку карликов?

— Нѣт, не думаю... Скорѣе Итку позовет и других мальчиков и дѣвочек. И всѣ они будут говорить по-татарски.

— А развѣ дѣдушка — халат?

— Нѣт, Шишилка. Он татарскій или какой-нибудь армянскій король... Ну, а теперь давай говорить, что он нам, как будто, уже подарил.

— Волшебный фонарь.

— А мнѣ — маленькую скрипку в красном футлярѣ с золотым смычком. Потом, діаболо,

коньки...

— И еще мнѣ бѣленькаго фокса с цилиндром.

Позвали маму.

— Шишилка поѣдет! — объявила Тамарка. — Она надѣнет бѣлое кружевное платье, свою и мою швейцарскую розетку из ленточек в голову, возьмет Кутяшу и будет танцовать «матлот» у дѣдушки на елкѣ. А потом получит волшебный фонарь и другіе подарки и все привезет сюда.

Мама очень серьезно ее слушала.

— Хорошо. Только Кутяшу она тебѣ оставит. А то Кутяша в Москвѣ соскучится...

Через день Неша повезла меня в Москву и вечером уѣхала назад к Тамаркѣ.

XI

В ГОСТЯХ У БОГАТАГО ДѢДУШКИ

Я осталась в большом чужом домѣ, гдѣ было нѣсколько парадных комнат с высокими, как балконныя двери, окнами, огромными хрустальными люстрами, пестрыми кавказскими коврами и иконами с цвѣтными висячими лампадами.

Спальни были всѣ одинаковыя, с мѣдными кроватями, пузатыми комодами и мраморными умывальниками с педалями.

Только у дѣда в спальнѣ стоял еще большой зеленый сундук, покрытый шкурою, и висѣло ржавое ружье.

Жилось в дѣдушкином домѣ совсѣм не так, как у нас. Всѣ ходили на цыпочках, не любили друг с другом разговаривать, за столом молчали, всѣ, как будто, ждали какой-то бѣды.

Утром бабушка посылала меня здороваться с дѣдом в его спальню, и это всегда бывало

немного страшно, потому что дѣдушка, огромный и рябой, сидѣл на тахтѣ, смотрѣл неизвѣстно на кого косыми глазами и подставлял свою бѣлую большую руку с бугорками волос мнѣ прямо к губам. Я цѣловала руку и, полюбовавшись огромной брилліантовой горошиной на его мизинцѣ, убѣгала из комнаты.

В первый же день я поняла, что дѣд немного волшебник.

Как только Аннушка зажгла в парадных комнатах лампадки, — дѣдушка принес за ней горящую бумагу и помахал ею по всѣм углам. И тогда у меня начала немного кружиться голова от сладкаго и душистаго запаха, который надолго остался в комнатах.

А в другой раз я сидѣла с бабушкой в ея спальнѣ на коврѣ и перебирала бисер для новаго абажура.

В залѣ послышался кашель дѣда. Бабушка вздохнула, встала и вышла из комнаты. Я посидѣла немного одна, потом соскучилась и пошла за ней.

В комнатах было темно и тихо, но из залы слышались какіе то шорохи и горѣл слабый красноватый свѣт. Кто-то чужой и печальный говорил сквозь слезы непонятныя слова, а еще кто-то гнусавый и страшный — что-то напѣвал, щелкая зубами...

Я хотѣла крикнуть, но не смогла. Сѣла в

страхѣ на пол и нечаянно толкнула ногой дверь...

В темной залѣ горѣла под образами красная лампадка. Бабушка стояла на колѣнях, закрыв лицо руками, и молилась вслух по-армянски. На стѣнѣ, у рояля, я увидѣла огромную тѣнь дѣда, а сам он стоял в углу, что то бормотал и вертѣл в руках длинную щелкающую цѣпочку.

Я крикнула:

— Бабушка!

Она вскочила с колѣн, подошла ко мнѣ и стала меня успокаивать. Дѣд тоже хотѣл подойти, но я спрятала лицо в бабушкину юбку и сказала:

— Не надо. Я боюсь. Я не хочу, чтобы у тебя такая цѣпь была!

— Какая цѣпь?

Зажгли свѣт. Я боязливо показала на ожерелье на рукѣ у дѣда.

— Дурочка, это четки.

Цѣлый вечер меня утѣшала бабушка. Успокоилась я только, когда пришли домой тетя Маруся и дядя Костя, когда Аннушка подала айвовое варенье и пастилу и, проходя мимо меня, поцѣловала меня в плечо.

XII

РОЖДЕСТВО У АРМЯН

Скоро в домѣ начали готовиться к праздникам.

Дядя Ваня, наканунѣ Рождества, прислал из Астрахани какую-то рыбу. Всѣ взрослые ходили на кухню полюбоваться на нее. Я тоже пошла, потому что думала увидѣть живого серебрянаго ерша.

Но в маленькой кухнѣ лежало на полу, на мокрой рогожѣ, скользкое чудовище без головы, с черной чешуей и апельсиноваго цвѣта мясом в огромной ранѣ.

Мнѣ было очень противно на него смотрѣть, хотя всѣ кругом любовались и похваливали рыбу, а толстая повариха Настасья даже сказала:

— Вот подарок-то! Прямо хоть царю на стол.

В один вечер, когда я уже лежала в посте-

ли, в передней с визгом раскрыли обѣ половинки парадной двери настежь, потом послышались шаги швейцара Ефрема и какое-то особенное, плавное-плавное шуршанье по паркету.

— Елку принесли, — подумала я и замерла от радости.

Послѣ этого двери в залу заперли до самаго сочельника. Но я знала, что тетя Маруся ходит туда ночами убирать елку, и утром, в столовой, жадно потягивала носом: такой чудный запах шел из под дверей залы.

В сочельник мнѣ дали вмѣсто обѣда чаю с халвой, Аннушка одѣла меня в бѣлое кружевное платье, прикрѣпила мнѣ в волосы швейцарнскую розетку (только одну, а не обѣ, как мы с Тамаркой хотѣли), и я поѣхала с бабушкой и тетей Марусей в армянскую церковь.

* * *

В Московской церкви все было так-же как у нас в Петербургѣ: священники бормотали непонятное; пѣл хор—какіе-то люди в красивых золотых одеждах, с темными печальными лицами. Они откидывали свои курчавые черные волосы назад, закрывали глаза и пѣли так жалобно и горько, что я плакала и все придумывала разныя грустныя вещи: то — умирает от чахот-

ки Неша и в послѣдній раз цѣлует меня в глаза, то — всѣ нас с Тамаркой разлюбили, мама выгнала из дома и, голодныя, уставшія, мы молимся у зажженной елки в чужом окнѣ...

Послѣ службы к нам подошли тетя Елена, Итка и еще какіе-то дѣвочки и мяльчики. Кто то побѣжал за извощиками. Шесть саней с дѣтьми, боннами и нянькам поѣхали гуськом к нам на Петровку.

* * *

Огромная елка стояла посреди зала. Она была так густо засыпана золотым дождем, хлопушками, нѣжными стеклянными шарами, бонбоньерками, свѣчами, пряниками, что совсѣм не видны были ея мохнатыя, пышныя вѣтви. На обрубленной верхушкѣ, под потолком, сверкала золотая звѣзда, а у подножья, в сугробах ваты, лежали игрушки.

Тетя Лина поочереди подводила нас к елкѣ, доставала игрушку с приколотой на ней записочкой и читала вслух имя.

Как только получишь игрушку, — не успѣешь на нее посмотрѣть хорошенько, показать другим дѣтям, — как взрослые начинают мѣшать тебѣ!

Сначала надо потянуться к тетѣ Линѣ, поцѣловать ее и сейчас же бѣжать благодарить

дѣдушку и бабушку!

А в это время уже другая дѣвочка или мальчик идут за игрушкой и не знаешь, на кого смотрѣть.

Мнѣ подарили сказки Андерсена с такими чудесными картинками, каких я еще никогда не видѣла, и волшебный фонарь с крутящейся лентой.

Я, конечно, сразу же сѣла на пол под елкой и стала его разглядывать, но тетя Лина подставила мнѣ свою щеку и сказала:

— Теперь поцѣлуй меня и бѣги благодарить дѣдушку и бабушку.

Я стала забирать подарки под мышку (не оставлять же их подлѣ елки!) и уронила книжку. Книжка, падая, раскрылась на очень интересной картинкѣ из снѣжной королевы: я легла на живот и стала ее разглядывать на полу.

— Ну что же ты? Иди к бабушкѣ. Смотри, какая у меня Итка умница: сейчас же побѣжала ей ручку поцѣловать.

— Я, тетя, потом всѣх перецѣлую.

Тетя Лина взяла меня за рукав и сказала строго:

— Слушайся, когда тебѣ что-нибудь велят.

Я подошла к бабушкѣ и сдѣлала ей реверанс. Бабушка поцѣловала меня в обѣ щеки. Потом я сдѣлала реверанс дѣду.

— Ишь ты, петербургская барышня, —

сказал дѣд и протянул мнѣ руку для поцѣлуя.

Подарки я оставила посреди зала, гдѣ вертѣлась сейчас тетя Лина и «устраивала» дѣтям игру. Говорила она с ними по армянски, я не понимала ни слова, только видѣла, что она дѣтям мѣшает, и они очень скучают, хотя по ея командѣ всѣ мѣняются мѣстами и повторяют за ней какія-то слова.

Мнѣ было нечего дѣлать в залѣ. Я понемногу отходила в угол, к роялю, хотѣла назамѣтно сѣсть под рояль и оттуда спокойно полюбоваться на елку, как вдруг вспомнила желтенькую Тамарку, папу, Нешу, маму, Лизаньку, и сразу-же что-то так больно обожгло глаза, что я скользнула в темную, пустую переднюю и прижалась лицом к дядиной дохѣ.

— Сейчас поѣду домой, в Петербург, — рѣшила я, хотя не знала навѣрное, можно ли это сдѣлать одной без взрослых.

Но в кухнѣ посышались какіе-то голоса. Я подумала о толстухѣ Михеевнѣ, о ласковой, тихой Аннушкѣ, о внучкѣ Михеевны Мотѣ и побѣжала в кухню.

XIII

РОДНЫЯ ДУШИ

Аннушка стояла у стола и деревянной лопаточкой раскладывала на блюдѣ розовые ломтики рыбы. Когда я вошла в кухню, она бросила лопаточку, быстро вытерла руки о полотенце, которое сушилось над плитой, схватила меня на руки и стала цѣловать мое платье.

Я обняла ея голову и сказала:

— Аннушка, я домой хочу.

— Что вы, ангелочек!

— Я к ним в залу больше не пойду.

Она засмѣялась и понесла меня в людскую. Там было весело и уютно.

Горѣла пузатая синяя лампа. Цвѣтистыя тарелки с пряниками, орѣхами и сладкими пирожками, жестяная банка с крошечной вѣткой от елки — стояли на столѣ. Михеевна и Мотя в совсѣм новых, шерстяных зеленых платьях сидѣли у стола и разбивали утюгом грецкіе орѣ-

хи.

— Ах ты, галченок, — закричала визгливым голосом Михеевна. — Ах ты, умница! К нам пришла? — и поцѣловала меня мокрыми губами прямо в рот. — Садись. Вот тебѣ, Мотька, и гостья!

Она пододвинула мнѣ табурет и накрыла своим платком. Я сѣла.

— Что ж ты невеселая? Подарком что ли обидѣли?

— Что ты, что ты, Михеевна, им какой фонарь подарили с картинками, — зашептала Аннушка.

— Ну-у! Гляди, Мотя. Какой такой фонарь?

— Вот я тебѣ сейчас принесу, — сказала я Мотѣ, сползая с табурета.

— Нельзя, нельзя, барышни, — опять зашептала Аннушка. — Нельзя, милыя, сюда игрушки тащить.

— Почему нельзя? Ну, тогда мы с Мотей в залу играть пойдем.

— Нельзя Мотькѣ, милок: господа обидятся — строго сказала Михеевна. — Да и не пойдет она никогда. Стараго барина боится.

— Завтра покажете, когда бабушка послѣ обѣда заснет, утѣшала меня Аннушка.

Из комнат два раза позвонили. Аннушка побѣжала на звонок.

— А ты, галченок, вправду завтра приходи,

когда бабушка захрапит.

— Приду! И фонарь и книжку принесу.

Мотя все стыдилась и молчала. А я смотрѣла на ея блѣдное лицо с красноватыми вѣками и веснушками, на желтые волосы, на шершавыя, красныя руки, на мѣдное колечко с синим узором и какими то буквами, на грубые чулки и ушастые прюнелевые ботинки — и, кажется, уже любила ее.

Вернулась Аннушка.

— Барышни, дорогія, вас по всему дому ищут.

— Я не пойду.

— Нельзя, не дай Бог, дѣдушка разсердится.

— Я не хочу к ним.

— Иди, иди, черныш, хуже будет, — сказала Михеевна и погладила меня жесткой рукой по щекѣ. — Ты что же призналась, что она здѣсь у нас сидит?

— Ничего не сказала, ей-Богу!

И Аннушка опять исчезла в комнатах.

Я пошла за ней.

— Ты гдѣ пропадала?

Тетя Лина наклонилась ко мнѣ и невкусно пахнула мнѣ в рот дымом (я знала, что она потихоньку от дѣда курила в ванной или уборной)

Я молчала.

— С прислугами на кухнѣ сидишь? Иди сей-

час же в зал, к дѣтям.

— Я не хочу к армянам, — сказала я и почувствовала, как по спинѣ у меня пробѣжал холод.

— Вот глупая! А сама-то ты кто?

Тетя дернула меня за руку, попробовала повести за собой. Но от холода в спинѣ я сдѣлалась каменной и не могла шевелиться.

Тогда она бросила мою руку и что-то крикнула по армянски. Из столовой пришли бабушка и тетя Маруся.

Я стояла посреди передней, чувствовала, что меня за что-то травят, как волченка, и молчала.

Тетя Маруся подошла ко мнѣ, обняла меня за плечи и повела в столовую.

— К армянам не хочет идти!! Хорошо ее дома воспитывают! Вот, пускай дѣдушка послушает, какія она вещи говорит!

— Довольно, Лина, оставь ребенка, она не понимает языка и не хочет идти... Понятно... — заступилась за меня бабушка.

— Ты, тетя Лина — вонючка, — сказала я вдруг очень громко, вспомнив ея дымный рот. — Я теперь тебя всегда так буду называть: тетка — вонючка.

Она подошла ко мнѣ близко, близко и, кажется, хотѣла меня ударить... но вошел и остановился у дверей дѣдушка.

Я почувствовала, что сейчас должно случиться что-то ужасное и прижалась к тетѣ Марусѣ, хотя она и сама-то чуть не плакала, сидя на тахтѣ.

Дѣдушка подозвал меня пальцем.

XIV
ДѢДУШКИН СУД

— Ты почему это с дѣтьми не играешь?

Я от озноба не могла говорить.

— Ну?

Я молчала.

— Что же ты молчишь? — вдруг задумчиво и тихо спросил меня дѣд и посмотрѣл куда-то в сторону своими косыми глазами..

— Я домой хочу. Я боюсь вас всѣх, — прошептала я, совсѣм по чужому, заикаясь и шепелявя.

— Ох, Господи, — вздохнула в дверях Анушка.

Теперь молчал дѣд.

— Избаловал папаша, — сказала тетя Лина таким тоном, как будто заранѣе знала, что дѣд с ней согласится.

Вдруг дѣдушка наклонился надо мной и так сердито заговорил по армянски, что обрызгал себѣ подбородок слюной.

Тетя Лина что-то ласково ему отвѣтила, но дѣд передернул плечами и головой, как будто бы его душил воротник, выпрямился и страшным голосом закричал:

— Химар, химар! Надоѣла!!

Я бросилась в угол комнаты и спрятала лицо в портьеру.

Позади меня все стихло.

Я боялась оглянуться на дѣда, но он сам тихо подошел ко мнѣ, положил свою огромную ладонь мнѣ на голову и погладил меня по волосам.

— Дурёшка ты — вот ты кто!

Я почувствовала, как отхлынул холод, как что-то расправилось в груди, и горячо заплакала. Тетя Маруся посадила меня к себѣ на колѣни, смѣялась моим слезам, передразнивала меня, цѣловала.

А дѣд — не страшный, а совсѣм новый косоглазый дѣдушка,—стоял перед нами, разглядывая, обгрызал сигару и чему то улыбался.

Я уже почувствовала, что он со мной заодно против злющей тетки-вонючки, ободрилась и забурчала ей в сторону:

— Вот подожди: пріѣдет Неша и выстрѣлит в тебя из дѣдушкинаго ружья!

Тетя Маруся и дѣдушка хотѣли сдѣлать очень серьезныя лица, но это у них не вышло: они оба отвернулись от меня и засмѣялись. И

даже тетя Лина не выдержала...

А потом дѣдушка посадил меня к себѣ на плечи и понес в зал.

Я очутилась высоко-высоко под люстрой, и мы начали так играть: дѣд подходил к елкѣ и показывал мнѣ на догоравшую свѣчку, гдѣ-нибудь под самой звѣздой на елкѣ.

— Туши эту!

А когда я вытягивала губы и начинала дуть на нее — дѣдушка вдруг отходил от елки. Я, «понарочному», сердилась, обижалась, хныкала и смѣялась. Дѣти окружили нас и покрикивали на дѣда.

Когда всѣ свѣчи все-таки были погашены, — я сказала дѣдушкѣ:

— Я лучше еще посижу так под люстрой.

Но гости уже расходились, и мнѣ нужно было итти спать.

Перед сном бабушка принесла мнѣ в постель подарок для Тамарки: настоящую, маленькую скрипку!!

XV
ТЕАТРЫ

Я очень скоро поняла, что в Москвѣ маленькимъ дѣтям живется хуже, чѣм у нас, и ничего особеннаго от Рождественских праздников больше не ждала.

Поѣхала я раз с дядей Костей в театр; в залѣ было очень много нарядных дѣтей, а на сценѣ, по большому круглому столу, ходили двѣ крошечныя фигурки с высоко взбитыми в башенку пушистыми волосами на птичьих головках — принцесса Ли и принцесса Ля. Онѣ что-то щебетали между собой, танцовали, обнимали высокія узкія пивныя бутылки, которыя стояли тут же на столѣ, и хотя обѣ онѣ были хорошенькія и веселыя, — мнѣ стало жалко их, и я спросила дядю Костю:

— А онѣ еще выростут?

— Нѣт, вѣдь онѣ уже взрослыя. Это лилипутки.

Потом какой-то очень ласковый и шутли-

вый господин в черном фракѣ посадил обѣих принцесс к себѣ на руку, в другую руку забрал со стола пивныя бутылки и ушел с ними за сцену.

Послѣ принцесс показывали двух дѣвочек-великанш с красными, толстенными, в тугих под колѣнками складках, ногами, в бѣлых носках и лакированных туфлях.

Онѣ сидѣли на широких бархатных креслах, не мигая смотрѣли маленькими глазками прямо перед собой, и только, когда им выкатили по полу шишковатыя чугунныя гири, онѣ встали и начали вертѣть ими над головой, катать от плеча до локтя по своим страшным голым рукам...

— Дядя Костя, пусть их, пожалуйста, уведут, — жалобно попросила я.

Дядя Костя засмѣялся, положил мнѣ обѣ ладони на голову и, пододвигая меня перед собой, осторожно, на цыпочках вышел со мной из зала.

— Не понравилось?

Я замотала головой.

— Ну, а принцессы-то тебѣ навѣрно понравились?

Я подумала о принцессах, и онѣ сразу же показались мнѣ чѣм-то таким похожим на великанш, что я опять почувствовала и страх и тошноту...

— Нѣт, не понравились. Пойдем туда, гдѣ

звѣри, или гдѣ дѣти представляют и танцуют, как труппа Чистякова.

А дядя Костя и не знал, что такое труппа Чистякова. Как бывало весело и интересно ѣздить по воскресеньям с папой, Нешей, Лизанькой и Тамаркой всегда в ту же самую уютную ложу, смотрѣть из темнаго зала на дворцы за дубовыми воротами, на пряничныя избушки, на непроходимые дремучіе лѣса... Деревья в этих лѣсах совсѣм особенные: качаются только стволами всякій раз, когда запляшут эльфы, постучит о землю клюкой бородатая Баба-Яга или с плачем пробѣгут Ваня и Маша, а листья неживые и покрыты густой, сѣрой сѣткой. Иногда в них показывается круглая желтая луна или зажигаются сразу со всѣх сторон маленькими огоньками звѣзды, а то вдруг забьет на вѣткѣ крылышками пестрая птичка с большим серебряным хвостом и запоет человѣчьим голосом... Но самое интересное бывает не в театрѣ, а потом в дѣтской, когла мы, вернувшись домой, сразу же начинаем шить из разноцвѣтных каленкоров и жесткаго бѣлаго тюля костюмы, вырѣзывать и клеить из золотой бумаги короны, звѣзды и пояски! Балетныя туфли — у нас давно уже есть, и мы с Тамаркой часто разучиваем на носках какіе-нибудь танцы, что-нибудь похожее на Чистяковскій балет...

Ничего дядя Костя, оказывается, не знал и

не видѣл! Но я все это разсказала ему, когда мы шли с ним за руку по незнакомым московским улицам, засыпанным снѣгом, и тогда он вдруг остановил извощика, поднял меня на руки, посадил на сидѣнье рядом с собой и сказал:

— Повезу тебя к Коршу. Там, навѣрно, теперь на праздниках что-нибудь вродѣ твоей труппы Чистякова.

Но у этого Корша представляли не дѣти, а взрослые каких - то «Багдадских Пирожников» в длинных балахонах и с голыми, как яйцо, головами.

Мнѣ понравилось. Впрочем, не очень понравилось...

XVI

ПОСЛѢДНІЕ ДНИ В МОСКВѢ

Как-то вечером бабушка вышла из своей комнаты в лиловом шуршащем платьѣ, долго прикалывала на головѣ бархатную плюшку, на которой торчали два черных мохнатых шелковистых пера, и потом, завязывая эту плюшку двумя ленточками под подбородком, сказала мнѣ, что сегодня всѣ старшіе уйдут из дому, и останется только Аннушка. Я должна быть умницей, выпить на ночь горячаго молока с сухариком, помолиться Богу и заснуть поскорѣе, а пока можно еще немного поиграть или почитать «Снѣжную королеву». Потом из задних комнат вышел дѣдушка в длинном черном сюртукѣ с широким галстуком под бритым, рябым подбородком и дядя Костя в чем то таком нарядном, с блестящими, выпуклыми пуговицами на груди, на животѣ, на рукавах!

Когда всѣ уѣхали, мы пошли с Аннушкой

в залу, я усадила ее у дверей, отгородила от себя стульями и долго танцовала перед ней на пестром, пушистом коврѣ — пока не устала. Потом Аннушка ушла стелить мою постель, а я сѣла на свое любимое мѣсто под роялем, у самых педалей, и стала думать о том, что в Москвѣ дѣтям живется, пожалуй, не так уж плохо, и что хорошо-бы сейчас написать кому-нибудь письмо, в котором можно разсказать и даже придумать что-нибудь про Москву.

В дяди Костином кабинетѣ, в жестяном стаканчинѣ, я отыскала тот чудесный, синій толстый карандаш, которым дядя всегда что-то чертил по тоненькой, как будто восковой бумагѣ, потом побѣжала в свою комнату, достала из рабочей корзиночки почтовую бумагу с тѣневыми черными фигурками на уголкѣ каждаго листка, опять вернулась в залу под рояль, легла животом на пол и стала писать письмо бабушкѣ Дагестанской, которая сама читать по русски не умѣла, и читал ей наши письма и отвѣчал за нее нам чей-то племянник Вартан...

«Дорогая бабушка,

мы Вас очень любим, часто вспоминаем, пожалуйста, пришлите сушеные фрукты: алычу, пахучіе орѣхи и татаро. Я теперь в Москвѣ тоже у одной бабушки. В Москвѣ живут только армяне́. Мы вечером танцовали с Аннушкой.

Цѣлую Вам руку

Ваша внучка Соня».

* * *

Когда всѣ русскіе и армянскіе праздники уже кончились, опять пріѣхала из Петербурга Неша, чтобы в тот-же день повезти меня домой.

Вечером, перед самым отъѣздом, бабушка позвала всѣх в залу. Мы должны были сѣсть и помолчать нѣсколько минут, пока дѣд не вздохнул и не сказал:

— Ну, в час добрый! — перекрестился и поманил меня пальцем к себѣ.

Мы с Нешей подошли вмѣстѣ.

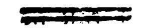
Потом бабушка, тетя, дядя стали меня крестить, цѣловать: а я так весело и торопливо прощалась с ними, что Неша нахмурила брови и тихо сказала мнѣ по нѣмецки:

— Так нельзя прощаться. Надо быть чувствительной дѣвочкой.

Я не знала, как это сдѣлать, и мнѣ стало чего-то очень стыдно. Тут я увидѣла, как плачут в передней Аннушка, Михеевна и Мотя, бросилась к ним, стала их обнимать, утѣшать и тоже заплакала...

Неша еще больше нахмурилась, поскорѣе нахлобучила на меня шапочку с ушами, Михеевна и Аннушка подхватили и надѣли на меня

шубку, калоши, и я побѣжала вниз, гдѣ за раскрытыми дверьми хлопал огромными рукавицами на замерзших руках сѣденькій сутулый извощик...



XVII

МЫ С ТАМАРИНЬКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ.

— Теперь мы с тобой совсѣм большія дѣвочки, и скоро нас пошлют в школу.

— В какую школу?

— В нѣмецкую, конечно. Мама сама поведет нас к фрейлейн Зидлер. У нея два класса: один для взрослых дѣвочек, как я, другой — для таких, как ты...

— Значит, мы не будем сидѣть с тобой за одной партой?

— Нѣт, Шишилка, нельзя. Вѣдь мнѣ уже восемь лѣт, и меня будут учить разным очень трудным вещам.

— А меня?

— Тебя полегче.

Тамарка в утѣшеніе поцѣловала меня и еще крѣпче прижала к себѣ. Мы опять сидѣли под шубами в передней, но ноги у нас выросли и свисали из под шуб — так что прятаться теперь было не очень удобно.

Тамарка уже давно поправилась: не была больше желтенькой, но все-таки всѣ праздники провела в постели. Правда, она научилась за свою болѣзнь играть в шестьдесят шесть с Нешей, вязать крючком гнѣзда для наших канареек, говорить наизусть по французски нѣсколько стишков. Вообще, болѣть дома на праздниках, оказывается, тоже было очень интесно...

В школу нас послали очень скоро послѣ этого нашего разговора в передней. Другія дѣти уже учились второе полугодіе, а мы только что пришли на экзамен.

Фрелейн Зидлер оказалась очень похожей на дровосѣка в одной нѣмецкой книжкѣ. У нея были широкія плечи, большія руки, совсѣм плоскія ноги и рѣденькая борода. Она ходила в черных прюнелевых ботинках без каблуков; говорила басом. Но глаза у нея были добрые. Хотя она сначала меня немного обидѣла.

Когда мы с Тамаркой выстроились перед ней (а за нами стояли мама и Неша), она ласково поговорила с Тамаркой, похлопав ее по плечу, и назвала ее булочкой. А потом наклонилась ко мнѣ:

— Ну, а ты, клоп?

— Мнѣ скоро семь лѣт, — сказала я на всякій случай.

Всѣ засмѣялись. Я почувствовала, что от

обиды на этот смѣх у меня начала дергаться губа. Тогда фрелейн Зидлер стало стыдно, и она положила мнѣ тоже на плечо свою руку и сказала:

— Я тебя поведу сейчас экзаменовать. Ты вѣдь не боишься?

— Боюсь.

— Не надо, дѣтка. Все равно я тебя возьму в младшій класс. Я только должна знать, что ты умѣешь.

Нас с Тамаркой разлучили. Ее сдали помощницѣ фрелейн Зидлер, а меня она сама повела в младшій класс. Там сидѣли дѣти в разнаго цвѣта платьях, но на всѣх были черные передники. На партах перед каждым лежала грифельная доска с привязанной к ней губкой и сѣрым грифельным карандашом в розовой обертке.

Меня посадили с мальчиком, толстым и круглым, как шар. Фрелейн Зидлер начала диктовать по русски:

— Корабль уплыл далеко в море...

Толстенькій мальчик засопѣл носом, картавя повторил: «когхабль», свѣсилъ язык и заскрипѣл грифелем... потом повторил: «в могхе»... «куда? — отвѣчает на вопрос куда»... плюнул на губку, размазал только что написанное, и опять принялся выводить по доскѣ, повторяя: «когхабль уплыл далеко в могхе»...

— А ты бери вот этот мѣл и пиши на доскѣ то, что я буду диктовать,—сказала мнѣ фрелейн Зидлер, подошла к доскѣ и спустила ее почти до самаго пола.

Я вышла на середину класса...

* * *

В большую перемѣну всѣ получили по кружкѣ чая с молоком и достали из своих ранцев бутерброды в восковых бумажках. У толстенькаго моего сосѣда завтрак был такой: бутерброд с яйцом, апельсин и двѣ тянушки. Он и за ѣдой посапывал носом. Я внимательно смотрѣла на него, на его пенал из гладкаго желтаго дерева и прочла нацарапанныя ножом на крышкѣ пенала слова: Hans Tugend.

Ганс, не отнимая бутерброда ото рта, тоже слѣдил за мной и потом сказал:

— Мы всѣ нѣмцы — папа, мама, Эмма и я.

Я только что хотѣла сказать, что здѣсь нѣт ничего удивительнаго, и что моя Неша тоже... как вдруг кто-то постучал над моей головой в стеклянную дверь. Я подняла голову и увидѣла приплюснутую стеклом рожицу Тамарки. Нос у нея был широкій и совсѣм бѣлый — так крѣпко прижала она его к двери! Я засмѣялась и побѣжала к ней в коридор.

— Идем, Шишилка, кушать. Нас сегодня

будет угощать сама фрелейн Зидлер.

— Чѣм?

— Горячим пирогом с капустой и чаем. Она сама мнѣ все сказала. Идем.

У фрелейн Зидлер в столовой было старенькое піанино, покрытое желтой кружевной салфеткой. А на окнѣ стояло много горшков с кактусами и еще какими-то кустиками.

— У нас дома есть канарейки, — сказала я.

— Это хорошо, — отвѣтила фрелейн Зидлер и усадила меня за стол.

Пирог был не очень вкусный. Дома по воскресеньям дѣлали лучше. Послѣ завтрака мы пошли в залу и там играли в жмурки со всѣми дѣтьми вмѣстѣ. Тамарка все время бѣгала около меня, даже хватала меня за руку, когда нас нагоняли, и громче всѣх смѣялась... Было очень интересно, только мальчики так больно шлёпали по плечам, что фрелейн Зидлер наказала двоих, оставила без игры на весь день.

Потом был у меня урок арифметики. Я знала только половину таблицы умноженія, но и этого оказалось уже много. Послѣ урока фрелейн Зидлер мнѣ сказала:

— Ты смышленая дѣвочка. Если-бы не была такой маленькой — тебя можно было-бы посадить в старшій класс.

Но уже через мѣсяц, когда мнѣ исполнилось

семь лѣт, меня посадили в старшій класс рядом с Тамаринькой.

А еще через мѣсяц наступила весна...

В Таврическій сад мы ходили теперь в три часа, послѣ школы. На улицах было весело, шумно и грязно. Громадными деревянными лопатами дворники сдвигали с панелей и скидывали по краям улицы тяжелый, мокрый, порыжѣвшій снѣг. Катились по мостовой забрызганныя густой, липкой грязью коляски. Катились онѣ, правда, не очень быстро, но все-таки обгоняли извощичьи сани, которыя цѣплялись за камни, скрипѣли, то и дѣло останавливались, или криво скатывались к тротуарам.

Наши высокіе теплые ботики Настя вымыла, вычистила и спрятала в корзинку, а нам с Тамаркой мама купила блестящія легкія галошки на малиновой подкадкѣ. Я сама выбрала себѣ в магазинѣ золотую букву и посмотрѣла, как ее придѣлали внутри галош.

В Таврическом саду мы бѣгали и гуляли по доскам, которыя были настланы по всѣм аллеям: только на них и было сухо; вездѣ же кругом уже таял снѣг, стояли густыя темныя лужи, а за низеньким заборчиком по краям аллей выбивалась яркая зеленая трава вперемежку с кусточками прошлогодней, почернѣвшей...

А еще через двѣ недѣли — уже сняли по главным аллеям доски, за изгородью в распу-

стившихся деревьях чирикали птицы, и цвѣли маленькіе желтенькіе цвѣточки, которые красили нос, если их понюхаешь, совсѣм близко приложившись к сердцевинкѣ...

═══

XVIII

ВЕРБА НА КОНЮШЕННОЙ УЛИЦѢ

В ту весну папа в первый раз повез нас на вербу.

Почему-то Пират не заѣхал за нами на-дом, а мы сами на извощикѣ поѣхали за ним в его конюшню. Я ужасно была этому рада — мнѣ давно хотѣлось посмотрѣть, гдѣ живет Пират, гдѣ он кушает, гдѣ спит... Сначала нас подвезли к громадному двору с деревянными воротами. Из двора совсѣм по особенному пахло сѣном, но не таким, как на дачѣ, в амбарѣ. Здѣсь пахло старым сухим сѣном и еще чѣм-то вкусным: немного дегтем, немного кожей и лошадьми. Мы перешли этот громадный двор с плоскими, досчатыми сарайчиками по обѣим сторонам его. В них все время что-то двигалось, переступало, шуршало: ударяло в доски, всхрапывало... Навстрѣчу папѣ шел через двор наш кучер Василій, который оказался совсѣм не

толстым и не важным, в кожаном кафтанѣ, широких штанах и высоких сапогах. Я даже не сразу его узнала. Только лицо у него было еще краснѣе обыкновеннаго, и волосы свисали из под шапки на лоб. Он снял шапку, увидя папу, и низко поклонился.

— Ну что-же ты, Василій, опять, — с досадой сказал папа.

— Виноват, барин.

Василій опять поклонился. Папа посмотрѣл на нас с Тамаркой и совсѣм тихо сказал Василію (но я все-таки услышала):

— Если барыня узнает — она тебя прогонит.

— Виноват, погулял на вербѣ.

Он, кажется, потянулся поцѣловать папин рукав, но папа быстро отвел рукой его голову и сказал:

— Я понимаю... я для тебя-же говорю... Вѣдь, никто держать не будет... Будь осторожнѣе... Ну, а теперь довольно об этом. Покажи дѣтям Пирата.

Как только Василій снял желѣзный болт с одной дверцы сарайчика, — она сама изнутри растворилась со скрипом, и мы увидѣли перед собой длинную морду Пирата с вздрагивающими мягкими ноздрями и бархатными губами, к которым пристали зернышки овса. Пахло от этой морды, от лоснящагося чёрнаго тѣла, от

зеленаго сухого навоза на соломѣ под ногами так крѣпко и вкусно, что мы с Тамаркой с шумом потянули носами и вздохнули!

— Какія вы обѣ дурочки, — засмѣялся папа.

Василій накинул Пирату на голову уздечку из ремешков, на которых блестѣли серебряныя круглыя нашлёпки, как пуговицы. Потом он вывел Пирата во двор. Мы увидѣли в домѣ Пирата только большой плоскій ящик с овсом, охапку сѣна, воткнутую в щель между досками, и хомут на стѣнѣ.

— Папа, а гдѣ-же он спит?

— Здѣсь-же.

— На соломѣ, на полу?

— Нѣт, стоя.

Меня посадили Пирату на спину, папа придерживал меня, идя рядом, а Василій под уздцы провел Пирата по двору. Потом его запрягли в широкую синюю пролетку, и мы покатили на Вербный базар.

— Амер-р-р-иканскіе жители!

Так кричал курносый мальчуган в бабьей кофтѣ. В зажатом кулакѣ он держал что-то вродѣ термометра, в котором ныряло в фіолетовой жидкости какое-то черненькое существо.

— «Вот повара
Из Гостиннаго Двора,
Днем пекут и жарят,

Ночью по карманам шарят!»— кричал другой. У него на палкѣ сидѣла цѣлая сотня желтеньких, черненьких и рыжих крошечных обезьянок, приколотых за задики булавками к палкѣ. Обезьянки эти были в колпачках, в чепцах, со шпагами в передней лапѣ. Были и простыя, ничѣм не украшенныя обезьянки, с круглыми мохнатенькими головками.

У одного ларька вкусно запахло ванилью — папа купил нам там горячія вафли. Со всѣх сторон пищали, вытягивались, надувались разноцвѣтные языки, колбаски, взлетали гроздьями над головами воздушные шары, скрипѣли гармошки, дудочки, щелкали орѣхи... Солнце было яркое, уже совсѣм,. как лѣтом, горячее, и стояло прямо над головой, над цѣлыми кустами верб, которыми высоко помахивали в воздухѣ бабы и мальчишки Продавали они их громадными охапками.

Папа купил нам камышевыя плетеныя корзиночки, раскрашеные, как пасхальныя яйца, шары, коробочки с бѣлой и рябиновой пастилой, чертиков, кокосовых орѣхов и уже уговаривал нас итти домой... Но мы увидѣли еще громадные пунцовые бутоны для куличей; свинюшек, которых так ужасно страшно надувал толстый мужик с покраснѣвшими выпученными глазами, потом заставлял их долго, протяжно свистѣть и медленно худѣть у нас на глазах!

Уходить нам не хотѣлось!

Возвращались мы в коляскѣ, заваленной вербами, и в этот день до самаго вечерняго чая убирали ими дѣтскую, раскидывая то на постели, то по углам комнаты вербные ларьки и выкрикивая запомнившіяся шутки торговцев...

XIX

МЫ ГОВѢЕМ КАК ВЗРОСЛЫЕ

На Страстной недѣлѣ в школу мы уже не пошли. Ѣли мы всю недѣлю самыя вкусныя вещи и не понимали, почему взрослые боялись «оскоромиться». Как будто можно было промѣнять кислыя щи, картофельныя котлеты с грибами, винегрет, компот из чернослива — на какое-нибудь обыкновенное мясо или яичницу!! Мы понимали так: раз пост, значит для нас, дѣтей, только и будут подавать на стол все вкусное...

В среду Настя и кухарка ходили заплаканныя, просили у всѣх нас прощеніе, цѣловали нам руки и уходили в церковь.

На этот раз мама позвала нас с Тамаркой к к себѣ в среду вечером и сказала, что мы уже большія дѣвочки и в этом году будем говѣть. Это показалось нам и интересным и очень страшным...

Мама сказала:

— Завтра, в четверг, мы всѣ пойдем в церковь на омовеніе ног... Об этом обрядѣ вам все разскажет папа... В пятницу вы пойдете на исповѣдь к батюшкѣ...

— К нашему... старенькому?

— Да... Он вѣдь и крестил вас обѣих, Вы не должны этого забывать.

— Хорошо, — покорно вздохнула Тамарка и стала вдруг страшно похожа на Настю, какой та бывала на Страстной недѣлѣ.

— Батюшкѣ вы скажете ваши грѣхи...

— Какіе? — перебила я.

— Такіе, какіе у вас есть... Когда вы сердитесь, или нас с папой не слушаетесь, или Нешу...

— Так развѣ мы не слушаемся? — опять поинтересовалась я очень серьезно.

Мама уже морщила губы, как всегда, когда ей хотѣлось смѣяться.

Я вздохнула, переступила с ноги на ногу и заложила руки за спиной.

— А утром, в субботу, причаститесь... До причастія ничего не будете кушать... Послѣ причастія выпьете черный кофе с халвой, вечером опять пойдете в церковь и потом разговѣетесь со всѣми старшими вмѣстѣ.

— А Неша? — спросила я.

— Неша пойдет вас провожать.

— А Настя?

— Настя пойдет в русскую церковь — у них служба под Пасху ночная, поздняя, а у нас, в армянской церкви, вечерняя... В 9 часов вечера уже сможем разговляться... Да вѣдь ты-же все это давно знаешь, что-же спрашиваешь?

— Да... но прежде меня рано укладывали спать под Пасху, и я ничего не видѣла, а теперь сама увижу... Так что мнѣ все надо знать подробно..,

Мама опять смѣялась, прикрыв губы рукою.

— Тамаринька, ты большая дѣвочка, пожалуйста все ей объясняй и напоминай,—сказала она.

В пятницу перед исповѣдью мнѣ стало так жалко себя и других, что я ни у кого не могла хорошенько попросить прощенія: только открывала рот — и сейчас же вмѣсто слов вылетали всхлипыванія... Мама сказала мнѣ, что она меня заранѣе во всем прощает и что мнѣ совсѣм не надо так волноваться...

А началось мое волненіе вот отчего: я сначала спряталась у папы в кабинетѣ под столом и думала, что как-только он войдет — я его сначала немного попугаю, а потом уже буду с ним разговаривать... Но папа вошел не один, а с Лизанькой. Я рѣшила подождать, пока Лизанька уйдет, и тогда выскочить къ папѣ из под стола. Но Лизанька, войдя, сѣла рядом с папой на диван. Папа крѣпко обнял ее и поцѣловал в

лоб. Потом Лизанька заговорила с папой, совсѣм как взрослая. Да и была она уже совсѣм взрослой на вид барышней.

— Ты, папа, поѣдешь с нами в церковь?

— Поѣду.

— И говѣть будешь?

— Нѣт, говѣть в этом году еще не собрался... Но с вами, конечно, поѣду... Вот, когда нас с мамой уже не будет — вы вспомните, как мы вас с дѣтства к церкви пріучали, и поблагодарите нас в душѣ.

Лизанька поймала папину руку и поцѣловала.

— Я только за Шишилку немного неспокоен... не рано-ли ей говѣть?

— Почем-же, папа, вѣдь я в ея годы уже не первый раз говѣла.

— Ты — другое дѣло, — задумчиво сказал папа... — Ты была крѣпкой здоровой дѣвочкой. А Шишилку лучше было-бы причастить пока без исповѣди... Исповѣдь на нее слишком подѣйствует...

Мнѣ стало так жалко папу и себя, что хотѣлось броситься к нему, приласкаться, но Лизанька вдруг услышала голос мамы и встала с дивана, чтобы итти к ней.

— Впрочем, как мама рѣшает — так всегда лучше, — со вздохом продолжал папа... Лизанька уже направилась к дверям. Папа пошел за ней. Я вскочила и незамѣтно для них про-

скользнула к себѣ в дѣтскую... Но весь день не могла забыть этого разговора и с самой этой минуты, как услышала папин грустный голос — не могла успокоиться и проплакала весь день. А к вечеру мама взяла меня за руку и повела вниз. Пират отвез нас на Невскій в Армянскую церковь.

В нашей уютной красивой церкви я встала по лѣвую сторону у окна — на женской половинѣ — с мамой и Тамаринькой, папа перешел на правую. Я жмурилась от свѣта множества свѣчей с бокового паникадила, опустив голову разглядывала ковер, которым была устлана вся церковь, иногда оборачиваясь на маму и стараясь дѣлать все совсѣм так-же, как она. Когда она крестилась, крестилась и я; когда она вставала на колѣни, вставала и я. Я вслушивалась в чтеніе Евангелія на таком знакомом по звукам и совсѣм непонятном по смыслу — армянском языкѣ. А когда Тамаринька и я встали в очередь на исповѣдь — к нам подошел человѣк с громадным носом и бородавкой под глазом и спросил по русски:

— Вы, дѣти, к кому? К старому батюшкѣ? К Тер-Грикору?

— Да, — степенно отвѣтила Тамарка и опять стала похожей на Настю.

— Тогда вставайте в другую очередь — здѣсь исповѣдывать будет молодой священник

из Эчміадзина, он не говорит по русски.

Мы перешли в другую очередь.

— Что такое Эчміадзин? — спросила я шопотом.

— Надо стоять тихо и молиться, — отвѣтила мнѣ Тамарка совсѣм невпопад на мой вопрос

Я пожала плечами, но спорить не стала.

*

Всѣ по очереди входили в крошечныя комнатки по обѣим сторонам алтаря и через нѣсколько минут выходили оттуда с заплаканными лицами. Когда мы вошли, батюшка велѣл нам стать на колѣни и дал Тамаркѣ книжку, исписанную от руки четким крупным почерком. Листочки были пожелтѣвшіе и потертые.

— Читайте вслух по кусочкам. Я буду вас спрашивать: грѣшны? И вы тогда отвѣчайте: грѣшны, батюшка.

Грѣхов было перечислено в книжечкѣ много. Много даже непонятных, которые Тамарка едва выговорила. Но я так громко и искренно отвѣчала: «грѣшна, батюшка», — что батюшка даже положил мнѣ руку на голову и наклонился надо мною. Потом он начал говорить по армянски молитву, а Тамаринька по русски повторяла за ним. Я молчала. Батюшка накрыл нас епитрахилью.

Когда мы вышли от батюшки, мама без слов надѣла на нас пальто и тихонько вывела на улицу. Папа в это время уже стоял с какими-то людьми на паперти и дожидался нас.

* * *

В субботу утром мы одѣлись в бѣлыя шерстяныя платьица, мама завязала нам бѣлыя ленты в волосы, и нас повезли причащаться.

В церкви было много нарядных дѣтей с курчавыми головками и смуглыми лицами.

Я слышала, как какая-то старушка, обнимая Лизаньку у выхода, сказала ей:

— Хорошая у вас семья, а своего языка никто не знает, стыдно....

И сказала это она, выговаривая русскія слова хуже, чѣм наш дѣдушка. Лизанька сдѣлала ей реверанс, но ничего не отвѣтила.

Вот маму твою за это поругаю... Что вы такое — иностранки какія-то... опять шепнула, покачав головой, старушка.

Я вернулась домой такая счастливая, так хотѣла стать, наконец, безгрѣшной дѣвочкой, что вмѣсто того, чтобы бѣжать с Тамаркой в кухню, смотрѣть на куличи, пошла в гостинную, встала, как бабушка московская, на колѣни и нѣсколько раз прочитала «Отче наш», падая головой к ковру... Когда я кончила молиться, ко

мнѣ подошел папа и сказал:

— Иди сними бѣленькое платье и бѣленькія туфли... Неша давно тебя зовет. Вечером опять надѣнешь перед церковью. Или устала, больше не хочешь ѣхать?

— Поѣду, папка.

Папа поднял меня на руки.

— Ух, ты громадная какая стала, тяжелая... Ну, ты довольна? Не забудешь, как в первый раз говѣла?...

— Не забуду, папка, — отвѣтила я ему, обнимая его голову.

XX
«ДЕРЕВНЯ»

Послѣ Пасхи мама поѣхала искать дачу. Когда она вернулась, то сказала нам, что сняла имѣніе под Лугой. Мы узнали, что будем жить в домѣ из девяти комнат. Стоит этот дом на маленькой горушкѣ, и от него бѣжит вниз длинная, длинная аллея, обсаженная кустами сирени. По краям аллеи поляны, совсѣм без деревьев, но за то с кустами крыжовника и черной и красной смородины. В концѣ аллеи громадное озеро. У нас на берегу своя собственная купальня и двѣ лодки. А напротив, через озеро, лѣс, гдѣ лѣтом много грибов и ягод. По другую сторону дома много тѣни от кленов и берез, крокетная площадка, службы, ледник. Деревня в полверстѣ.

— Деревня? — переспросила я, затаив дыханіе.

— Да.

— Настоящая деревня с избами?

Мамо засмѣлась.

— Конечно.

Мы с Тамаркой переглянулись.

— И колодец есть, и бараны, и телѣги?

— Все есть — и бараны, и коровы, и куры, и лошади...

Мы с Тамаринькой завизжали, затанцовали и бросились друг другу на шею.

Вечером я принесла и разложила у мамы на колѣнях картинки, которыя мы покупали в табачной, напротив. У меня были стада, хорошенькія избушки, сплошь покрытыя снѣгом, и другія — коричневыя, с соломенными крышами, с бѣленькой распустившейся березкой у крыльца; куры у глиняной чашки, наполненной зерном, колодезь, и возлѣ него двѣ румяныя бабы с коромыслами на плечах...

— Мама, это такая и есть деревня? — спросила я, приставляя одну картинку к другой, чтобы получился общій вид.

— Не совсѣм... но п о ч т и такая...

— А какая?

— Сама скоро увидишь...

— А когда мы поѣдем?

— Вот, пятнадцатаго мая вы обѣ получите ваши отмѣтки за полугодіе — фрелейн Зйдлер вас и отпустит.

XXI

«ПОВЕДЕНІЕ и УСПѢХИ»

Пятнадцатаго мая было очень жарко.

Мы сидѣли в классѣ с открытым окном и ждали, когда фрелейн Зидлер войдет с папкой подмышкой и начнет раздавать нам наши листки. В этот послѣдній день перед каникулами было очень шумно в классѣ: всѣ говорили, перебивая друг друга, шалили, прыгали через скамейки, грызли леденцы, рисовали на классной доскѣ морды, даже вскакивали на подоконник, хотя это было нам очень строго запрещено.

— Идет! — прошипѣл кто-то в дверях, и мы в одну секунду разбѣжались по мѣстам.

Фрелейн Зидлер вошла, прикрыла окно, в которое надоѣдливо дребезжали с улицы трамваи, сѣла как-то особенно важно за учительскій стол и стала вызывать по алфавиту. Когда очередь дошла до нас, она вызвала сначала Тамарку

и очень ее похвалила. Сказала, что Тамарка вторая ученица в классѣ, что у нея, кромѣ того, очень хорошій характер и поведеніе хорошее.

— И сестренка молодец, — сказала она, повернувшись к моей партѣ, и подозвала меня пальцем к себѣ. Я подошла и сдѣлала низкій реверанс.

— Ты — пятая ученица по успѣхам на тридцать восемь человѣк... Не надо забывать, что ты на полтора и даже на два года моложе других учеников... Значит, учишься совсѣм хорошо...

Она дала мнѣ в руки мой лист. Я опять сдѣлала реверанс и пошла на свое мѣсто. Но, не дойдя, остановилась возлѣ доски и стала разглядывать этот красивый лист с отмѣтками, который попал мнѣ в руки первый раз. Наверху стояло мое имя и фамилія, написанныя по нѣмецки очень четким заостренным почерком. А под ними, как и в дневникѣ, шли два отпечатанных столбика: в одном было названіе предметов, в другом отмѣтки.

Я прочла:

		Нѣмецкій язык	5
Поведеніе	5	Арифметика	4
Закон Божій (рус.)	5	Рукодѣліе	4
Русскій язык	5	Рисованіе	4
Французскій язык	4	Чистописаніе	3

Вдруг я услышала позади себя смѣх и, по-

вернувшись к классу, увидѣла, что смѣются надо мною. А фрелейн Зидлер даже водит пальцем по бумагѣ так, как я, и тоже смѣется...

— Ну что, не дотерпѣла донести до своего мѣста? — спросила она меня.

Я сконфузилась, прикрыла лицо листком и побѣжала к своей партѣ. Когда она кончила раздавать листки и встала, двѣ дѣвочки, красныя, заплаканныя, прятались в углу у дверей корридора... Но фрелейн Зидлер дѣлала вид, что не замѣчает их. Я видѣла, что Тамарка тоже едва удерживает слезы, глядя на них, и только ждет ухода фрелейн Зидлер, чтобы подбѣжать к ним... Но фрелейн Зидлер вдруг подозвала Тамарку к себѣ и положила ей руку на плечо. Тамарка ничего не спросила и не подняла головы.

— Лѣтом, вы всѣ должны хоть один час в день отдавать урокам, — сказала фрелейн. — Я сейчас передам через Тамару расписаніе уроков, которые вы должны сдѣлать за два мѣсяца, а она послѣдит за тѣм, чтобы вы вѣрно его списали... Хорошо, Тамара?

Послѣ этих слов огромная рука фрелейн Зидлер, лежащая на плечѣ Тамарки, вдруг дернулась вниз и сейчас-же опять приподнялась: это Тамаринька отвѣтила фрелейн Зидлер реверансом.

— Но сестренкѣ твоей ничего не задаю на

лѣто. Слышишь? Пусть играет, бѣгает, шалит и пусть попробует немного потолстѣть... А то прямо оса какая-то... Слышишь, оса, я о тебѣ говорю!... — она повернулась ко мнѣ — кушай больше и не учись... А то не возьму тебя осенью к себѣ...

Она подошла ко мнѣ и больно потянула меня к себѣ за щеку.

— Я-же кушаю, — попробовала я защищаться, а сама с любопытством разглядывала снизу ея подбородок с жесткими рѣденькими волосами, растущими во всѣ стороны.

Фрелейн Зидлер не разслышала моих слов, отошла от меня и, как через трубу, пробасила:

— Ну, будьте здоровы и прощайте, дѣти, до осени.

Ловко и быстро переступая своими громадными плоскими ногами под длинной синей люстриновой юбкой, она вышла из класса.

XXII

НА МОРСКОМ ДНѢ

Послѣ прощанія со школой мы провели еще нѣсколько дней в городѣ, смотрѣли, как старшіе укладывались и убирали на лѣто квартиру.

Сначала сняли портьеры и занавѣски, пересыпали их нафталином и сложили в корзины. Потом закрутили люстру цѣлой охапкой газет, обвязали ее бичевкой; кресла, столы, стулья, рояль покрыли сѣрыми жесткими чехлами, отороченными красным кантом; ковры свернули громадными негнущимися трубами, густо засыпав их нафталином, и оттащили их по паркету к стѣнѣ гостиной. Сюда же принесли из передней корзины с зимними вещами, нагромоздили их одну на другую. Потом Настя сказала мамѣ:

— Ну вот, барыня, кажется и всё!

Когда всѣ вышли, мама даже повернула ключъ в замкѣ двери, как-будто в гостиной теперь уже должна была начаться своя, непохо-

жая на нашу, жизнь.

А вечером мы с Тамаркой вошли в гостиную... Там пахло нафталином так, что мы даже нѣсколько раз чихнули себѣ в передники. Потом Тамарка осторожно дотронулась до электрической кнопки, и мы увидѣли, что в гостиной теперь и вправду была совсѣм своя жизнь. Громадный бѣлый, но не прозрачный кокон бабочки засвѣтился над нашей головой, хотя вся комната оставалась почти в полутемнотѣ..: Мы сѣли на корточки.

— Теперь это морское дно, — сказала Тамарка. — Подводные камни и скалы, — она показала на составленные друг на друга стулья в чехлах и на корзины, — страшныя чудовища и рыбы, — она протянула руку к свернутым коврам. — Видишь...

— Да, – шепотом отвѣчала я. — А откуда-же бабочка на морском днѣ? Я подняла глаза к слабо свѣтящейся люстрѣ.

— Это не бабочка, а медуза,

— Кто?

— Медуза.

— А что такое медуза?

— Тоже такая рыба. Она свѣтится в водѣ.

— Рыба? Нѣт, это на рыбу не похоже...

— Не совсѣм рыба... Ну, как будто рыба, или звѣзда.

Я ничего не поняла.

Потом забрались в качалку. Тамарка свѣ-

сила одну ногу и отталкивалась ею от пола. Мы тихонько покачивались.

— Вот мы как-будто плывем по самому дну и как будто смотрим вокруг, — сказала Тамарка.

XXIII
СБОРЫ НА ДАЧУ

На слѣдующій день укладывали ящики с посудой и сундуки с бѣльем. Их должны были везти на дачу «на возах». В кухнѣ на полу лежала разбросанная посуда, куски рогожи, веревки. Буфет в столовой почти опустѣл. Там оставался теперь только дорогой праздничный сервиз и нѣсколько простых фаянсовых тарелок, на которых мы должны были ѣсть в послѣдній день перед отъѣздом на дачу. Мы очень радовались. Выпросили себѣ к этому дню даже деревянныя ложки из кухни и попросили, чтобы нам дали такой-же обѣд и завтрак, какой давали на кухнѣ, когда там гладила прачка Гликерія: черный хлѣб, селедку с картошкой, щи и суповое мясо с хрѣном. Хрѣна нам совсѣм не дали; селедки дали только по одному маленькому кусочку. За то спекли оладьи, которыя мы ѣли за завтраком, а не вечером, за чаем, как Гликерія.

А на утро в 6 часов загрохотали во дворѣ пустыя телѣги. Мы вскочили с постелей и бросились к окнам. Неша велѣла нам накинуть халатики, надѣть туфли, сѣла сама с нами на подоконник, и мы всѣ вмѣстѣ смотрѣли, как три мужика и младшій дворник таскали и ставили на телѣгу ящики и сундуки... Один из мужиков все время дико кричал на лошадей — огромных, упитанных, почти вдвое больше нашего Пирата. Онѣ с шумом скребли и били тяжелыми подковами булыжник на дворѣ...

— Папа сказал, что это битюги, — сказала мнѣ Тамарка. — Они сильные, но за то не умѣют так быстро бѣгать, как Пират.

— Они до самой Луги пѣшком пойдут? — спросила я.

— Мужики? Нѣт, почему-же? Они могут сидѣть на возу.

— Нѣт, лошади! Все время пѣшком?

Неша и Тамара засмѣялись.

— Чего вы смѣетесь... Если они пѣшком пойдут — так лучше-бы нас тоже на возу повезли.

— А развѣ тебѣ поѣздом не интересно ѣхать? — спросила Неша.

— Нѣт, поѣздом тоже очень интересно...

И я опять подумала про себя: самое трудное то, что все вообще интересно, а старшіе все время заставляют выбирать что-нибудь одно.

XXIV

ДЕРЕВНЯ ТУРОВО

В поѣздѣ я сидѣла на выдвижном столикѣ у окна, обняв Нешу за шею, и всю дорогу не отрывала глаз от того, что мелькало за окном.

Сначала мы ѣхали вдоль болотца с тоненькими березками возлѣ будок стрѣлочников, потом картофельными и капустными огородами и лугами, по которым медленно переступали, не поднимая голов от травы, рыжія, бѣлыя, желтыя и пятнистыя коровы. А возлѣ коров лежали на травѣ оборванные мальчишки — счастливцы, которых зовут пастушками...

В Лугѣ на станціи нас ждали двѣ линейки. Я в первый раз ѣхала боком к лошади, болтая ногами над быстро мелькавшей под ними землей и держась обѣими руками за Нешу и за папу. Правил лошадью молодой прыщавый парень в ватной шапкѣ, Семен — конюх наших новых сосѣдей, которые одолжили нам линейки.

Лошадь звали Тонькой. Она была не такая высокая, как Пират, и живот у нея был ниже и круглѣе. Цвѣта она была коричневаго, а гривка и холка подстрижены очень аккуратно. Сзади нас, почти уткнувшись в край нашей линейки, бѣжал Сѣрый, — тяжелая, красивая лошадь, немного страшная, потому что она все время скалила большіе желтые зубы и дико таращила глаза, задирая шею... На губах же у нея закипала пѣна и падала кусками на землю.

Чтобы подъѣхать к нашему дому, нам нужно было проѣхать сначала деревню... Я смотрѣла и молчала. Даже ни разу не спросила ни о чем папу — потому что деревня оказалась и похожей и, вмѣстѣ с тѣм, совсѣм не похожей на картинки из табачной лавки...

Весь этот день старшіе были заняты в домѣ: развязывали, раскладывали, убирали вещи, а мы с Тамаринькой и папой до самаго вечера гуляли в саду, расчищали крокетную площадку, развѣшивали в купальнѣ удочки, выметали вѣниками сор из лодок, разставляли в сараѣ лопатки, серсо, наши трехколесные велосипеды. Заглянули в ледник, низенькій, придавленный к землѣ и поросшій травой, осмотрѣли клѣти для кур... А в пять часов вечера пили на травѣ чай, который принесла нам в простых кухонных кружках Неша. Потом пошли в деревню...

Было жарко, пыльно. На широкой кривой

деревенской улицѣ по обѣим сторонам стояли избы из сѣрых шершавых бревен — совсѣм не такія красивыя, как на картинках. На каждой была прибита дощечка с надписью. Мы подошли к маленькой избѣ без изгороди, которая стояла как то боком, будто случайно тут выросла, и я прочла: «Дмитрій Цыганков».

— Вы к Цыганковым, барин? Они всѣ в поле ушли, — сказала нам баба, но не румяная и не в красном платочкѣ, а с сѣрым, немного корявым от оспы лицом, в выцвѣтшем платкѣ на головѣ, в ситцевой кофтѣ поверхъ юбки. Ноги у нея были босыя и немного страшныя — жилистыя, красныя, с шишкой у большого пальца.

— Нѣт, мы не к ним... мы только посмотрѣли, что тут написано, — сказал папа.

— А-а, ну тогда так, — скучно отвѣтила баба и прошла за сосѣднюю избу, наступая в какую-то коричневую жижу, выбивавшуюся у нея под ногами из под разбросанной по двору соломы...

Мы тихонько пошли дальше... Откуда то выкатились и закружились у нас под ногами двѣ грязныя собаченки... Онѣ не были страшны, но так визгливо лаяли, что мы зажали уши... И опять та-же скучная баба подошла к нам и ударила собаченок краем лопаты по задам... Онѣ взвизгнули и скрылись так же бы-

стро и незамѣтно, как появились.

У одной избы — просторной и свѣже-выкрашенной в голубой цвѣт — было что-то вродѣ насыпи под самыми окнами, и на этой насыпи цѣлая гурьба босых ребятишек, бѣлобрысых, загорѣлых, без рубашек, в одних штанах, играла в какую-то игру, сидя на корточках. Когда они увидѣли нас, то встали, как по командѣ, и пошли, ни слова не говоря, за нами. Двѣ дѣвочки в длинных юбках и нижних рубашонках — пестрых и грязных, спадавших с плеч, выбѣжали откуда-то так же незамѣтно и неожиданно, как собаченки, и тоже пошли подлѣ нас. Одна из них все хотѣла потрогать оборку на моем батистовом платьицѣ, подходила совсѣм близко, уже почти протягивала руку — и опять отходила, смотря на папу из-подлобья.

— Здравствуйте, дѣти, — сказал им папа. Они не отвѣчали. — Шишилка, Тамаринька, поздоровайтесь-же с ними, они дичатся!

Мы остановились. Тамарка протянула одной дѣвочкѣ руку, но та так и оставила Тамарку с протянутой рукой и только посмотрѣла на других дѣтей. Мы не знали, как дальше быть... Мальчики окружили нас и тоже всѣ молчали и смотрѣли на нас не то с любопытством, не то с испугом.

— С какой стороны стадо домой пригоняют? — спросил папа.

— С энтой, — почти хором отвѣтили мальчуганы. А один даже забѣжал вперед и вытянул руку налѣво. — С энтой, — сказал он очень серьезно, — через Прытки гонят...

— Прытки? Что такое Прытки? — спросила Тамаринька.

— А вон, — опять отвѣтил тот-же мальчуган и показал туда-же.

На самом краю деревни в двухъэтажном домѣ с большим двором, выступавшим какбудто в серединѣ улицы, была лавка. Снаружи она была очень похожа на ту игрушечную, деревянную, складную, которую мнѣ подарили ко дню Ангела. Но что было в ней совсѣм особенное — это запах. Мы даже не сразу вошли в нее — так хорошо было стоять возлѣ нея и принюхиваться к тому, как пахло из ея дверей кожей, дегтем, ситцем и свѣже выпеченным хлѣбом. А когда мы вошли внутрь, то так и ахнули от восторга. Всё оказалось интересно, вкусно и необыкновенно. Над прилавком на проволокѣ были развѣшены чудныя бусы — дутыя, крупныя, из розоваго, алаго, голубого, зеленаго стекла —, крестики, синенькія колечки, как у Моти в Москвѣ. На полу стояли бочки с черным густым дегтем, с сѣмечками, бидоны с керосином, охапки чистеньких, желтых, немного запыленных рогож, войлока, связки бичёвок. По стѣнам, на полках, — ремни, куски кож, пестрыя чашки, лоханки, чайники, почто-

вая бумага в розовых картонках, банки с монпансье, с постным сахаром; куски негнущагося росписного ситца, ленты, зеркальца, керосиновыя лампы. А на прилавкѣ — хлѣба, круглые, плоскіе, обсыпанные мукой; колбасы, вяленая рыба, банка с брусничным вареньем, бутылки клюквеннаго морса и пива, неуклюжіе вѣсы, пирамидка сахара, вяземскіе и медовые пряники.

Папа купил нам бусы, Тамаринькѣ — красные, мнѣ — голубые. Они стоили по пятачку. Сразу же надѣл их нам на шею. Когда мы повернулись к дверям, там стояла вся ватага мальчуганов и тѣ-же двѣ дикія дѣвочки с ними. Они всѣ смотрѣли на нас.

— Чего вам купить? — спросил весело папа. — Выбирайте!

— Сѣмечек, жареных, — прокричало сразу нѣсколько голосов...

Лавочник в сатиновой синей рубахѣ, на которую падала раздѣленная на двѣ половины густая борода, краснолицый, короткорукій, погрозил дѣтям пальцем. Но папа подозвал к себѣ дѣвочек. Онѣ вошли и остановились прямо около мѣшков с сѣмячками. Тогда лавочник сѣл на корточки и стал зачерпывать в мѣшкѣ деревянной плошкой и ссыпать в подол дѣвочкам пыльныя сѣмечки... Он отсчитывал каждую плошку вслух, а дѣвочки не отрывали глаз от

своих задранных юбчонок, всё тяжелѣвших и вздувавшихся книзу.

— Ну, будет, довольно с вас, еще обожретесь, — шутливо сказал лавочник и встал с корточек. Дѣвочки, опустив головы к подолам, быстро зашлепали босыми ногами к дверям. Там их окружили мальчуганы и тоже, не отрывая глаз от их юбченок, молча пошли за ними к краю дороги. У канавы они всѣ сѣли на землю.

В это время со стороны «Прытков» показалось на дорогѣ огромное облако. Оно росло, приближаясь к нам и подымаясь из за холмика.

— Вот и стадо, — сказал папа, но мы пока еще ничего кромѣ сѣраго облака не видѣли... Потом раздался шум вдруг обрушившагося града или дождя. — По мосткам уже переходит, — опять сказал папа. И скоро мы увидѣли тѣсную громадную кучу баранов и овец, услышали трескучее и жалобное блеяніе... Не доходя до нас, они остановились, покосились на нас и вдруг всѣ разом бросились в сторону, через канаву на пустырь... Защелкал кнутом пастушок, вылѣзшій вдруг из самой гущи пыли с собачонками, — бараны опять сбились в кучу и, оглядынваясь на нас, почти промчались мимо, окутав нас пылью... Папа отвел нас к лавкѣ... За баранами и овцами шли вразбродку коровы;

останавливаясь, смотря на нас большими грустными глазами, облизывались зеленым от травы языком и обмахивались грязными желтыми, похожими на плетки хвостами, болтающимися за костистыми, почти горбатыми задами.

— Я думала мы баранов гладить и кормить из руки будем, — огорченно сказала я. — А они — вон как от нас кидаются!

— Еще успѣете друг к другу привыкнуть,— засмѣялся папа, — будем приходить сюда почаще с черным хлѣбом для них — они и перестанут нас бояться...

— Как по твоему, интересно быть Цыганковыми? — спросила я Тамарку, когда мы легли спать вдвоем в большую незнакомую кровать.

— Конечно, интересно... Но еще интереснѣе к ним в гости пойти...

— Мы и пойдем!

— Конечно, папа обѣщал, что если у них есть дѣти, мы позовем дѣтей к себѣ и поѣдем с ними на лодкѣ в лѣс, на ту сторону. А в субботу папа привезет из города игрушечныя лодки с парусами, которыя сами будут плавать по озеру. Мы их потом выловим и привезем в купальню.

Мы заснули при открытых настежь окнах. Очень скоро я проснулась от громкаго щелканья и свиста. Приподнялась, сѣла на кровати и уже хотѣла разбудить Тамарку, как вдруг Не-

ша зашевелилась в глубинѣ комнаты и шопотом спросила меня:

— Тебя соловей разбудил? Закрыть окно?

— Нѣт, нѣт, пожалуйста не надо. Я сейчас опять засну, — попросила я. Легла и притихла. Скоро Неша задремала — я это слышала по ея дыханью.

Но сама я не спала. Перед самым разсвѣтом я опять поднялась и присѣла на кровати. Хрипло и настойчиво прокричал гдѣ-то пѣтух. Ему не сразу отвѣтили другіе. Но когда за окном начало свѣтлѣть — со всѣх сторон послышалось их разноголосое крикливое пѣніе. Каждый все время повторял один и тот-же свой мотив, но пѣли они хором.

Тамарка недовольно фыркнула во снѣ и залѣзла с ушами под пикейное одѣяло, которым мы были покрыты.

XXV
ТАБОР

У Цыганковых было три маленьких чумазых дѣвочки. Их привел к нам отец — худощавый, черный, бородатый мужик. Оказалось, их дѣдушка и бабушка были настоящіе цыгане и жили не в избѣ, а в повозках и все время ѣздили с мѣста на мѣсто. Потому и дѣвочки Цыганковы совсѣм не были похожи на других деревенских дѣтей.

Папа и Неша повезли всѣх нас через озеро. Дѣвочки Цыганковы на другом берегу все знали наизусть: научили папу, гдѣ удобнѣе причалить, куда пойти. Онѣ вывели нас на опушку лѣса, гдѣ начинались такіе луга, что мы до плеч прятались в траву.

В этот день я в первый раз увидѣла, как живут настоящіе цыгане, потому что дѣвочки вывели нас к заросшей межѣ, на которой стояли какіе-то фургоны и дымился костер. Когда мы подошли ближе — на межу выскочили гро-

мадные, злющіе псы, но не бросились на нас, так как они привязаны были за ошейники длинными крѣпкими цѣпями к фургонам.

Мы остановились. К нам вышли два молодых цыгана в бѣлых рубашках и картузах, а сзади них очень страшная старуха в пестром платкѣ, с ожерельем из золотых монеток на шеѣ... Они всѣ очень ласково нас встрѣтили, подтянули покороче цѣпи к фургонам; и псы послушно попятились, присѣли на всѣ четыре лапы и подлѣзли под сброшенныя под фургоны лѣсенки.

Старуха не переставала что-то говорить — то ноющим, то веселым голосом. Она все время ласково заглядывала нам в глаза и даже попробовала меня погладить, но я отскочила и прижалась к папѣ.

— Нѣт, гадать нам не надо, -- сказал ей папа,—а вот если кто нибудь из вас споет или спляшет для дѣтей, спасибо.

Старуха куда-то ушла. Двое цыган стояли около нас и улыбались, сверкая бѣлыми зубами. Я хотѣла спросить их про собак, про ѣду, которая варилась у них в чугункѣ, про то, как они живут в этих грязных крытых телѣгах, но мнѣ было почему-то страшно, что они так улыбаются: все время одинаково и как будто «по-нарочному».

Дѣвочки Цыганковы стояли около нас и

молчали, заложив руки за спины, и только когда выбѣжала к нам очень похожая на них, но еще смуглѣе и шустрѣе, дѣвочка в длинной до щиколок юбкѣ, онѣ подсунулись к папѣ поближе и внимательно посмотрѣли на то, что он дѣлал. А папа в это время доставал из кармана гривенники. Он сунул их черной дѣвочкѣ в руку и спросил:

Тебя как зовут?

— Любка, — весело отвѣтила она и так же, как парни, оскалила бѣлые зубы... Потом попобѣжала за бубном, дала его в руки старухѣ; та окликнула еще какую-то женщину — молодую, но тоже некрасивую и грязную.

«Розовое яблочко —
Миленькій дружок,
Погуляй со мной
В этот вечерок».

запѣла звонким голосом Любка. Всѣ встали в круг, принялись отбивать такт в ладоши, а дѣвочка затрясла худенькими плечиками и быстро быстро забила грязными ногами, то отступая назад, то падая всѣм тѣлом вперед. Танцовала она долго, все время одинаково и очень дико. Потом остановилась, шмыгнула носом, вытерла рукавом пот с лица, оправила, совсѣм как взрослая, свою юбку у пояса и спросила папу, едва дыша:

— Хочете, еще буду плясать?

— Нѣт, нѣт, зачѣм-же, отдохни.

Папа достал и дал ей еще гривенник. Старуха встала, ноя и причитая, благодарить. Дѣвочка опять заулыбалась «по-нарочному», потом подошла ко мнѣ, оглядѣла меня и заговорила со мной, как с маленькой, хотя она сама была, навѣрное, не старше меня. Пахло от нея луком и помадой.

— Она умная... что прикажут — всё уворует и домой принесет, — шопотом сказала мнѣ Нюта Цыганкова.

— Страсть умная... — с восторгом добавила Ксюша — ишь на цѣпь как глянула.

И правда; маленькая цыганочка нѣсколько раз взглянула на золотенькую цѣпочку от часов на шеѣ у Неши... Потом замѣтила, что мы на нее смотрим, тряхнула головой, взяла из рук старухи бубен и затанцовала уже с бубном.

XXVI
СЕМЬЯ ЦЫГАНКОВЫХ

Скоро дѣвочки Цыганковы перестали ѣздить к нам на другой берег. Теперь в лѣс онѣ ходили однѣ, а нам приносили потом мелкую душистую землянику в деревянных лукошках, прикрытых листами лопуха. Мама платила им за каждое лукошко 15 копѣек. Позже онѣ стали приносить нам щавель, грибы, чернику. Брали от мамы деньги завязывали их в уголок пестраго платка и уходили.

Раз вечером в их домѣ случилось что-то очень страшное... Мы с Нешей возвращались послѣ встрѣчи баранов домой и проходили мимо избы Цыганковых. У них во дворѣ лежали на телѣгѣ коса и грабли, валялся картуз — значит, отец уже вернулся с поля. Когда мы поравнялись с избой, я услышала какіе-то сдавленные крики, плач дѣтей. Я страшно испугалась и стала тормошить Нешу, чтобы она по-

шла со мной посмотрѣть, что там дѣлается.

Но Неша не пошла к ним сама, а кликнула сосѣдей. На крыльцо у сосѣдей вышла та скучная баба, которую мы видѣли в первый день нашего прiѣзда.

Неша не умѣла разговаривать с деревенскими. Она боялась, что ее не поймут, краснѣла и забывала самыя простыя слова. Я рѣшила ей помочь.

— Пойдемте к Цыганковым. Там что-то случилось, — сказала я.

Баба прищурилась и глупо посмотрѣла на нас.

— У Цыганковых что-то случилось, — повторила я,

В это время мы услышали новый крик.

— Ничего не случилось, — спокойно отвѣтила баба.

— Там кричат, дѣти плачут, — уже дрожа от страха, сказала я.

— Ничего такого нѣт... Отец пьяный вернулся, опять, должно, дерется,—еще равнодушнѣе сказала баба, вошла во двор, подняла валявшiяся посреди двора коромысла и приставила их к крыльцу.

— Глюпый какой народ, — сказала сердито Неша. — А ты не плачь, сейчас пойдем домой и пришлем сюда кого нибудь, — прибавила она мнѣ по нѣмецки.

— Неша, милая, постучим им в окно. Может быть, он перестанет драться, — умоляла я ее.

Неша подошла к окнам и сильно, как мужчина, постучала в стекло. Никто не отвѣтил. Только что-то вдруг грохнуло в избѣ, и громче заплакали дѣвочки. Она постучала в другой раз, в третій — никто так и не показался. Но в избѣ стихло.

Когда мы возвращались домой, — ноги у меня стали мягкими и вялыми, как макароны и, я едва ступала ими.

Дома я ни одного слова ни о чем не сказала, убѣжала в сад под смородинные кусты и пролежала там до вечера. Я только слышала, как Неша о чем-то говорила с папой на балконѣ, и папа сейчас же ушел разсерженный и огорченный в деревню.

И «риволюція» — страшно, — думала я, — И на войнѣ, навѣрное, очень ужасно... И все-таки я знала про войну и никогда не боялась представлять себѣ ее. А тут, когда услышала крики и подумала, что Нюту с Ксюшей бородатый злой мужик бьет — так стало нехорошо, страшно, противно, так ужасно жалко их обѣих... Что-же с этой жалостью дѣлать?

Через день пришли к нам дѣвочки Цыганковы с малиной. Онѣ были очень тихонькими в этот день, гладенько причесаными, хорошо

вымытыми.

— За что вас отец третьяго дня бил? — спросила Тамарка, и я очень удивилась, как это она смогла так просто, взять да спросить про такую страшную и секретную вещь.

— Нас батька никогда не бьёт, — ответила Ксюша и опустила глаза. Потом вздохнула, пересчитала деньги, завязала их в платок, взяла Нюту за руку, поклонилась нам и ушла.

XXVII
ЛѢТНІЯ РАДОСТИ

Дѣвочки Цыганковы с тѣх пор стали приходить к нам все рѣже. Затó ко мнѣ папа привел двух мальчиков, сыновей нашего сосѣда. Они были поляки и между собой говорили всегда по польски. А с нами по русски.

Папа помог нам очистить поросшую травой старую тенисную площадку, и мы построили на площадкѣ желѣзную дорогу с насыпью, вокзалами из глины и песку и даже туннелями. У мальчиков были рельсы, вагоны. Мы вбили в земляные вокзалы флажки, вечером освѣтили весь путь бумажными фонарями и пустили вагоны... Я звонила в крошечный колокольчик, отправляя поѣзда. Мальчики давали свистки и катили вагоны. Красиво и весело было у нас на желѣзной дорогѣ!

* * *

На сѣнокос мы поѣхали с ранняго утра. Сосѣди поляки — с дѣтьми и англичанкой, горнич-

ной и двумя гостями из Петербурга. Мы — всей семьей, с Нешей, Настей, кухаркой Степановной и Кутяшей. Мы повезли с собой на линейках и на подводах два самовара, коврики, удочку, посуду. корзинки с ѣдой, бутылки пива и вина. Проѣхали много верст и пріѣхали к узенькой прозрачной рѣчкѣ с песчаными желтыми берегами. В полях, возлѣ рѣчки, ровными рядами, шли косари в разстегнутых до живота рубахах, в картузах и шапках над загорѣлыми, кирпично-красными лицами. Со свистом и коротким шелестом ложилась перед ними трава, на минуту взблескивали на солнцѣ косы и опять падали в темныя зеленыя полосы у их ног. Мы долго стояли с Тамаркой, раскрыв от восторга и удивленія рты, возлѣ старика, косившаго лучше всѣх.

— И... и, мѣдянка. глядите!!... — закричал кто-то весело.

Мы оглянулись. Молодой парень поднял на косѣ обрывок золотистой ленты, которая еще вздрагивала и сжималась. Тамарка подбѣжала к парню. Я тоже хотѣла посмотрѣть на змѣю поближе, но меня стало мутить от нея, и я закрыла глаза.

В полдень Настя разложила на скошенной травѣ коврики, посрединѣ накрыла скатерть, поставила блюда с холодными котлетами, с салатом, с сваренными в крутую яйцами, с ягода-

ми в сметанѣ... Приборов не было: тарелки, ножи, вилки, салфетки лежали рядом на травѣ— каждый брал себѣ сам, что ему нужно, и ѣл, по ставив тарелку на колѣни.

Послѣ обѣда папа, я, старик косарь и еще два мужика спустились к рѣкѣ. Другіе косари спали в травѣ, подложив руки под затылок и накрыв шапкой лицо.

Папа и мужики удили. Мнѣ слушать было нечего: они только изрѣдка переговаривались, все же остальное время курили и не отрывали глаз от рѣки. Старик плевался в сторону, выстрѣливая из-за стиснутых зубов слюну. И потом пили вино, которое папа принес с собой в нѣскольких бутылках.

Я легла животом на землю возлѣ папы и смотрѣла на него, на его руки... И тут я замѣтила, что руки у него дрожали теперь гораздо больше, чѣм зимой, лицо стало краснѣе, вѣки еще больше опухшими. Папа пил из стакана. Мужики прямо из горлышка бутылок. Глаза у них дѣлались сонными.

У папы вдруг сильно дрогнула леса... В другой раз, в третій! Старик косарь сдѣлал папѣ знак глазами. Папа ловко вздернул удочку кверху, бросил конец ея на песок, на котором забился, затанцовал окунь. Потом папа опять очень ловко подхватил удочку себѣ подмышку, наклонился и схватил рыбу рукой. Старик под-

сунул ведро.

В 4 часа Настя поставила самовар... Мы пили чай жадно, много; угощали всѣх косарей, которые пили совсѣм по особенному: не дожидались, когда остынет, а с шумом тянули из стаканов, не прикасаясь губами к их краям. Мы с Тамаркой ловили бабочек. Тут были какія-то необыкновенныя — розовыя с черными головками и такія большія, что их невозможно было умѣстить в ладони! И мальчики поляки собирали бабочек, но мы, набрав их в мѣшок из под сушек, побѣжали к дальней межѣ и отпустили их на свободу, отряхув руки от желтоватой пыли. А мальчики подробно разглядывали их, вынимая по одной из сачка, и прикалывали булавками на щиты под стеклом... Им помогала во всем англичанка.

XXVIII
ЖИТЬ СТАНОВИТСЯ НЕМНОГО СТРАШНО

Так проходили лѣтніе дни — каждый по своему интересный и необыкновенный, пока не начались дожди.

А с дождями всё перемѣнилось.

О стеклянную крышу балкона всю ночь били крупныя частыя капли, размывали нашу желѣзную дорогу на тенисной площадкѣ, набирались в лодки и затопляли их почти до половины. И днем дождь рѣдко стихал. Нѣсколько раз мы пробовали проѣхаться под зонтиками в лодкѣ, нарвали и привезли с собой желтыя и бѣлыя лиліи. Как их трудно было рвать в водѣ! Стебли у них были круглые, крѣпкіе, как резиновые; гнулись под рукой, но не обламывались,

Тамариньку засадили за ученье. В августѣ она должна была держать экзамен в гимназію, а если не выдержит — вернуться еще на год

к фрелейн Зидлер.

Папа уѣхал в город. Мы доживали лѣто на дачѣ и ждали, когда вернутся ясные дни.

Как-то вечером, когда мы ужинали на балконѣ с зажженной лампой и закрытой в сад дверью, кто-то нѣсколько раз сильно дернул в колокольчик у ворот. Мы слышали, как из кухни побѣжали открывать калитку. Потом по мокрому песку заскрипѣли незнакомые шаги. В балконную дверь постучали.

— Телеграмма.

— Что?—спросила мама и поблѣднѣла.

— Телеграмма, — опять повторили в саду.

— Войдите.

Дверь открылась. Настя взяла из рук телеграфиста сложенный сѣроватый листок и передала мамѣ. Мама встала, отошла к окну, наскоро перекрестилась и надорвала телеграмму шпилькой.

— А-ах, — вдруг не-то вскрикнула, не-то вздохнула она. Еще раз перечла глазами то, что было написано.

— Я сейчас ѣду. Настя, бѣги к сосѣдям, попроси сейчас-же заложить двуколку...

Мама ушла в свою комнату одѣваться. Лизанька и Тамарка побѣжали за ней. Меня Неша не пустила. Я не понимала, что произошло.

— Сиди спокойно и доѣдай свою просто-

квашу, — спокойно сказала мнѣ Неша, но сама то и дѣло поглядывала на дверь, за которой скрылась мама. Настя осталась стоять с блюдом в рукѣ посреди балкона. Скоро вернулась мама в англійской соломенной шляпѣ с черной ленточкой, в городском костюмѣ, с несессером в руках.

— Фрелейн, всѣ ключи лежат у меня на столѣ, — сказала она Нешѣ.—Вы их возьмете к себѣ. Деньги вы сами знаете гдѣ... Я завтра же напишу. Если понадобится и вам уѣхать — уложитесь, запрёте весь дом наглухо, а с хозяевами — с Кишкиными — я сама потом всё улажу... Берегите дѣвочек...

Мама крѣпко поцѣловала Нешу и что то тихо шепнула ей на ухо.

— Ах, Боже мой... — вздохнула Неша, и глаза у нея сразу-же наполнились слезами.

Мама подняла меня на руки и прижалась ко мнѣ своей бархатистой, всегда особенно вкусной, душистой щекой.

— Послушай, ты уже большая дѣвочка и будешь умницей... Не захочешь огорчать Нешу своими капризами и слезами... Ей трудно будет со всѣми вами одной...

— Ты скоро вернешься? — спросила я. — Зачѣм ты ѣдешь? Мама, а мама, что случилось?

— Папа не совсѣм здоров... Ты не бойся, он скоро поправится. Мы вмѣстѣ вернемся

еще сюда... А то, вы сами пріѣдете с Нешей в город... Кстати, Тамусѣ пора на экзамен ѣхать...

Мама цѣловала меня, гладила мое лицо своей красивой рукой с розовым ногтями и кольцами, которыя мы с Тамаркой любили перебирать пальцами и цѣловать в брилліантовыя капельки... Потом сказала:

— Ну, сядем...

Всѣ на минуту сѣли. Скоро мама встала, перекрестилась и вышла с Настей в сад. Там у ворот уже бил ногой о деревянный мостик Сѣрый, запряженный в двуколку.

— Значит, в Петербургѣ, в нашей пустой квартирѣ лежит теперь папа? — думала я. — Может быть, и ему снятся карлики с натянутой струной? Может быть, и он должен пить касторку в зеленоватых капсюльках и заѣдать их ложкой варенья? И как-бы все-таки поскорѣе попасть к нему, залѣзть с ногами на его диван, лечь головой ему на живот?

* *

Вернулись ясные дни. Неша опять стала водить нас встрѣчать баранов. Скоро мы сами стали ходить в лѣс, собирать грибы и ягоды, помогали Настѣ мариновать боровики, варить в саду брусничное варенье. Но на лодкѣ нас Неша катать больше не хотѣла — боялась!

Она теперь вообще всё время за нас боялась: почти не спала, подходила к нам ночью, трогала наши лбы, цѣлый день нас окликала, как будто думала, что мы убѣжим. От мамы были хорошія письма — папа поправлялся.

— Почему-же он мнѣ не напишет? — спрашивала я. И написала ему сама длинное письмо, которое Неша даже не прочла, запечатала его в конверт и послала в Петербург.

Мы уѣхали с дачи 15-го августа. В дорогѣ Неша все время суетилась, пересчитывала разложенныя на сѣткѣ вещи, что-то провѣряла по своей записной книжечкѣ, совѣтовалась с Настей. А я с Кутяшей сидѣла на складном столикѣ у окна. Лизанька держала меня за плечи и говорила со мной.

XXIX

НЕВЕСЕЛОЕ ВОЗВРАЩЕНІЕ

Мы пріѣхали в Петербург вечером. Пират не встрѣтил нас у вокзала — мы возвращались на извощиках. Когда мы вылѣзли у нашего подъѣзда, Неша велѣла Лизанькѣ подыматься с нами по черной лѣстницѣ, сама-же осталась расплачиваться с извощиками. Я очень удивилась, но и обрадовалась, что подымусь по гулким ступеням черной чугунной лѣстницы, мимо дворницкой, из которой так хорошо, должно быть, пахло сапогами и щами, и пройду в квартиру через кухню, куда меня не любили пускать старшіе. Но все-таки я спросила Лизаньку, почему мы не пошли по парадной?

— Папа лежит в спальнѣ у самой передней и навѣрное отдыхает послѣ ужина — не надо его будить.

Мнѣ стало очень грустно.

— Значит меня не пустят к нему сейчас?

— Нѣт, Шишилка, подожди да завтра.

Я с плачем побѣжала через двѣ ступеньки вверх, но Лизанька нагнала меня, обняла и стала уговаривать не огорчать маму моими капризами.

Ночью я не засыпала. Тамаринька тоже. Мы сидѣли на кроватях и думали, что теперь будет с нами... Тамаринька должна была утром итти на экзамен в гимназію. Если выдержит — мы уже не будем больше ходить вдвоем к фрейлейн Зидлер, сидѣть за одной партой, играть вмѣстѣ в большую перемѣну в жмурки. учить дома вслух уроки... Было еще и другое, совсѣм новое в нашей жизни: за то время, что мы прожили на дачѣ, продали в городѣ Пирата, и Василій поступил в наш дом швейцаром. А самым главным было третье... Когда мы легли спать, Тамаринька пошла босиком «подслушивать» под папину дверь. Она слышала, как папа кашлял. а потом услышала, как мама говорила Нешѣ:

— Его должны были перевезти сегодня, но не прислали во время санитаров, и пришлось отложить на завтра... Это очень неудачно вышло из за дѣтей... Так бы он уѣхал, и дѣти не увидѣли бы его перед отъѣздом...

— Конечно, — отвѣтила Неша, — но я не могла задерживаться на дачѣ из-за Тамаринькиных экзаменов...

— Ну, ничего, даст Бог, как-нибудь устроим, — отвѣтила со вздохом мама.

* * *

Утром Неша дала Тамаринькѣ надѣть синюю матроску. У нас в комнатѣ Настя зажгла перед образом лампадку. Тамаринька встала на колѣни, перекрестилась и пошла с Нешей в гимназію на экзамен. Мнѣ хотѣлось спать.

— Спи, спи, — сказаза мнѣ Неша... Настя разбудит тебя в 9 часов.

Но уже через полчаса я проснулась от рѣзкаго звонка в передней. Потом послышались тяжелые мужскіе шаги и скрип чего-то, что вкатывали в переднюю, задѣвая за порог.

Я вскочила и побѣжала в корридор. Я услышала, как Настя стала осторожно прикрывать всѣ двери, навѣрное, чтобы не разбудить меня. Но я уже стояла за дверью из корридора в переднюю, дрожа всѣм тѣлом и выжидала только минуту, когда мнѣ можно будет броситься в спальню к папѣ.

— Он сможет сидѣть? — спросил чужой голос.

— Сможет, сможет, — всхлипывая отвѣтила мама.

Тогда я ударила обѣими ладонями в дверь, распахнула ее, шмыгнула под ногами у незнако-

мых, мнѣ людей, катящих громадное кресло, и бросилась в спальню...

На кровати, свѣсив ноги и нащупывая ими мягкія туфли, сидѣл в бѣлой рубашкѣ с отложным воротником, в бѣлых длинных панталонах папа. Худой, обросшій бородой, с глубоко впавшими глазами...

— Папка, папка, я не пущу тебя! — крикнула я, прыгнула ему на колѣни и обхватила его за шею.

Но он не обнял и не прижал меня к себѣ, а только поглядѣл на меня, мигая глазами и как-будто ничего не понимая.

Я сама услышала, как я страшно закричала тогда...

Мама сняла меня с папиных колѣн и громко сказала, как-будто приказывая мнѣ:

— Поцѣлуй папѣ руку... Он уѣзжает лѣчиться... скоро вернется совсѣм здоровым... а теперь не тревожь его...

Я сразу замолчала. Вѣдь когда мнѣ бывало страшно — я всегда прыгала к папѣ на колѣни, и он успокаивал меня... Что мнѣ было дѣлать теперь — когда он сидѣл передо мной, похожій на маленькаго ребенка, не утѣшал меня, не прижимал к себѣ, а только улыбался?...

Я молчала.

Вдруг папа как-будто что-то вспомнил... Протянул мнѣ руку.

— Шишилка, — тихо сказал он.

— Узнал, узнал, голубчик, барышню! — взвизгнула Настя и, громко заголосив, убѣжала в переднюю, гдѣ стояли санитары. Мама закрыла лицо руками.

Не плакали только папа и я.

Папа по воздуху перекрестил меня. Пожелтѣвшiе худенькiе пальцы его прыгали от дрожи. Потом он хотѣл, кажется, перекреститься сам и не донес руки до лба.

— Аня, — позвал он маму и покачал головой, виновато показав на себя самого.

* * *

С подоконника в дѣтской я смотрѣла, как во дворѣ люди в фуражках с красными околышами вдвигали папино кресло в большой крытый автомобиль.

Мама снизу увидѣла меня, показала Настѣ на окно и, кажется, послала ее ко мнѣ... Потом сѣла рядом с папиным креслом на выдвижной стул. Люди в фуражках захлопнули дверцы и выѣхали со двора.

Нѣсколько минут я оставалась в квартирѣ одна. Я слѣзла с подоконника, обошла комнату, посмотрѣла на зажженную лампадку и подумала, что Тамаринька сейчас уже отвѣчает на экзаменѣ в какой-то незнакомой гимназiи, которая должна нас скоро разлучить.

Вошла Настя, все еще всхлипывая и шмыгая носом. Она сказала:

— Святой наш барин, ну, прямо святой, да и только! И как жил, всѣх жалѣл и никому дурного слова не сказал — так и болѣет, как дитё! Дай ему Господь поправиться... Василій прямо не хуже нас ревёт.

Она посадила меня к себѣ на колѣни и прижалась головой к моему плечу. От волос ея немного пахло керосином.

— Одѣвай халатик скорѣй... чего сидишь в одной рубашонкѣ, — вдруг заторопила она меня, спустила с колѣн, схватила с перил моей кровати халатик и дала мнѣ его надѣть...

— Идём, помогу тебѣ умыться, — сказала она мнѣ ласково.

— Я сама умѣю мыться, — отвѣтила я ей. сняла со стѣны свое полотенце и пошла к умывальнику.

— Ну, иди, иди, умница, а я побѣгу молоко подогрѣю.

* * *

Через полчаса я совсѣм одна сидѣла за столом в столовой — одна первый раз в моей жизни. Пила с блюдечка молоко и не спускала глаз с дверей моей дѣтской. Она казалась мнѣ теперь совсѣм грустной и как-будто немного

чужой.

И в ней с утра горѣла перед образом лампадка — как будто в знак разставанья моего с Тамаринькой и с моим папой...

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Отпечатана в типографіи «ЗАРЯ»
918/1 Лин Сен Род. Тел. 74469

Складъ изданія:
Кіоскъ Каѳедральнаго Собора.
55, Рю Поль Анри
Шанхай.